

АБСОЛЮТНЫЙ МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР



Курбан Саид

Али и Нина



Трогательная, красивая история,
яркая и незабываемая, о столкновениях культур
и несокрушимой любви.

Newsweek

Азбука-бестселлер

Курбан Саид

Али и Нино

«Азбука-Аттикус»

1937

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Саид К.

Али и Нино / К. Саид — «Азбука-Аттикус», 1937 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-21365-4

Подлинное имя автора, скрывающегося за псевдонимом Курбан Саид, до сих пор вызывает споры. Его знаменитый роман «Али и Нино» был впервые опубликован в 1937 году в Вене. Долгое время книга считалась утраченной, и только в 70-е годы XX века был обнаружен ее английский перевод. Персонажи книги триумфально вернулись на прилавки книжных магазинов, чтобы стать одной из самых известных влюбленных пар XX века. Сегодня роман переведен на тридцать три языка, по нему ставят пьесы, снимают фильмы, а в Батуми его героям установили памятник. Накануне русской революции 1917 года пылкий мусульманин Али и прекрасная христианка Нино полюбили друг друга. Они почти не надеются связать свои судьбы, ведь подобный союз запрещают религия и обычаи. Благодаря заступничеству друга, убеждающего их близких согласиться на этот брак, их страстная мечта получает шанс осуществиться... Роман публикуется в новом переводе.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-21365-4

© Саид К., 1937
© Азбука-Аттикус, 1937

Содержание

4	5
Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	15
Глава четвертая	21
Глава пятая	26
Глава шестая	30
Глава седьмая	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Курбан Саид Али и Нино

4

АЗБУКА
БЕСТСЕЛЛЕР

Kurban Said

ALI AND NINO

Copyright © 1970 by Lucy Tal

First published in German by Tal Verlag, Vienna in 1937

All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc.

Перевод с немецкого Софьи Ардынской



© С. Ардынская, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство АЗБУКА®

Глава первая

«С севера, юга и запада Европа окружена морями. Естественные ее границы образуют Северный Ледовитый океан, Средиземное море и Атлантический океан. Крайней северной оконечностью Европы наука считает остров Магерё, южную ее оконечность образует остров Крит, а западную – Данмор-Хед. Восточная граница Европы проходит по территории Российской империи вдоль Урала, пересекает Каспийское море, а потом пролегает по Закавказью. Вот здесь наука еще не произнесла свой окончательный приговор. Если одни ученые относят область, расположенную южнее Кавказских гор, к Азии, то другие, в особенности учитывая культурное развитие Закавказья, полагают, что эта земля есть часть Европы. Таким образом, в некоторой степени от вашего поведения зависит, будет ли наш город принадлежать прогрессивной Европе или отсталой Азии».

Учитель самодовольно улыбнулся. У сорока мальчиков, учеников третьего класса императорской российской классической гимназии закавказского города Баку, при мысли о такой бездне учености и бремени ответственности перехватило дыхание.

Какое-то время все мы: тридцать магометан, четверо армян, двое поляков, трое сектантов и один русский – потрясенно молчали. Потом Мехмед-Хайдар, сидевший за последней партой, поднял руку и произнес:

– Господин учитель, пожалуйста, позвольте нам остаться в Азии.

Ответом ему стал оглушительный взрыв смеха. Мехмед-Хайдар сидел в третьем классе уже второй год. Почти ни у кого не возникало сомнений, что если Баку и далее будет считаться частью Азии, то в третьем классе он останется еще на год. Кроме того, особым министерским указом уроженцам азиатских окраин России дозволялось сидеть в одном классе, сколько пожелают.

Облаченный, как положено по званию, в мундир русского учителя гимназии, Санин наморщил лоб.

– Выходит, Мехмед-Хайдар, вы хотите остаться азиатом? Ну-ка выйдите вперед. Вы можете обосновать свое мнение?

Мехмед-Хайдар встал перед классом, покраснел и замолчал. Он стоял, приоткрыв рот, нахмурившись, с глупым видом глядел в пространство и не говорил ни слова. И пока четверо армян, двое поляков, трое сектантов и один русский потешались над его глупостью, я поднял руку и объявил:

– Господин учитель, я тоже хочу остаться в Азии.

– Али-хан Ширваншир! И вы туда же! Хорошо, выйдите вперед.

Учитель Санин на миг прикрыл глаза, мысленно проклиная судьбу, изгнавшую его на берег Каспийского моря. Потом откашлялся и с важностью продолжал:

– А вы-то, по крайней мере, можете обосновать свое мнение?

– Да, мне в Азии очень хорошо.

– Так-так. А вы бывали в по-настоящему дикарских, нецивилизованных азиатских странах, например в Тегеране?

– Конечно, прошлым летом.

– Ах вот как. Можно ли увидеть там великие достижения европейской культуры, например автомобили?

– О да, и даже очень большие. Рассчитанные на тридцать и более человек. Они ездят не по городу, а курсируют между населенными пунктами.

– Это автобусы, и они заменяют железную дорогу. Вот что значит отсталость. Садитесь, Ширваншир.

Тридцать азиатов заликовали и стали бросать на меня одобрительные взгляды.

Учитель Санин раздосадованно замолчал, ведь в его обязанности входило воспитывать учеников достойными европейцами.

– А бывал ли кто-нибудь из вас, например, в Берлине? – вдруг спросил он.

Сегодня ему положительно не везло: сектант Майков поднял руку и объявил, что побывал в Берлине в раннем детстве. Он до сих пор живо помнил душную, пугающую подземную железную дорогу, шумные поезда и бутерброд с ветчиной, который приготовила ему мать.

Мы, тридцать магометан, несказанно вознегодовали. Сеид Мустафа даже попросил разрешения выйти, потому что при одном упоминании ветчины ему сделалось дурно. На том дискуссия о географической принадлежности города Баку и завершилась.

Прозвенел звонок. Учитель Санин с облегчением вышел. Сорок учеников бросились вон из класса. Наступила большая перемена, и провести ее можно было за тремя занятиями: выбежать во двор и поколотить учеников соседнего реального училища за то, что они щеголяли в золотых пуговицах и золотых кокардах, в то время как мы довольствовались серебряными; или поговорить друг с другом по-татарски, чтобы нас не понимали русские, – в нашей гимназии это воспрещалось; и наконец, перебежать улицу, чтобы проникнуть в женскую гимназию Святой царицы Тамары.

В гимназии Святой царицы Тамары девочки в скромных синих форменных платьях с белыми передниками гуляли по саду. Меня поманила моя кузина Аише. Я проскользнул в садовую калитку. Аише шла, держась за руки с Нино Кипиани, а Нино Кипиани была самой прекрасной девочкой на свете. Когда я поведал им о том, как бросился в бой на полях географии, самая прекрасная девочка на свете наморщила самый прекрасный на свете носик и произнесла:

– Али-хан, какой ты глупый. Слава богу, мы в Европе. Если бы мы жили в Азии, я бы давным-давно уже носила покрывало и ты бы не смог меня увидеть.

Я признал себя побежденным. Неопределенное географическое положение города Баку позволило мне наслаждаться созерцанием самых прекрасных глаз на свете.

Опечаленный, я потихоньку ступал и прогулял остаток занятий. Бродил по узким улочкам, поглядывал на верблюдов, на море, думал о Европе, думал об Азии, о прекрасных глазах Нино и грустил. Навстречу мне попался нищий с покрытым гноящимися язвами лицом. Я подал ему милостыню, и он хотел поцеловать мне руку. Я испуганно отпрянул. А потом два часа искал этого нищего по всему городу, чтобы дать облобызать руку. Ведь мне показалось, что я его оскорбил. Я его не нашел и мучился угрызениями совести.

Все это случилось пять лет тому назад.

За эти пять лет произошло множество событий. Нам назначили нового директора, который предпочитал хватать нас за воротник и трясти, ведь давать гимназистам пощечины строго воспрещалось. Учитель Закона Божьего весьма доходчиво объяснил, какую милость явил нам Аллах, позволив родиться магометанами. В класс к нам поступили двое армян и один русский, а двое магометан выбыли: один потому, что в свои шестнадцать лет женился, а другой потому, что на каникулах был убит врагами по законам кровной мести. Я, Али-хан Ширваншир, трижды побывал в Дагестане, дважды в Тифлисе, один раз в Кисловодске, один раз у дяди в Персии и чуть было не остался на второй год, так как не сумел отличить герундий от герундива. Мой отец поговорил о моем провале с муллой, и тот объявил ему, что вся эта латынь – пустое и вздорное безумие. После этого отец надел турецкие, персидские и русские ордена, поехал к директору, пожертвовал деньги на приобретение для гимназии какого-то физического прибора, и меня перевели в следующий класс. Тем временем в гимназии повесили плакат, гласивший, что ученикам строго воспрещается входить в здание с заряженными револьверами, в городе провели телефонную связь, открыли два кинематографа, а Нино Кипиани по-прежнему оставалась самой прекрасной девочкой на свете.

Всему этому вскоре предстояло закончиться, всего одна неделя отделяла меня от выпускных испытаний, и я сидел у себя в комнате и размышлял о бессмысленности латинских уроков на берегу Каспийского моря.

Комната моя, красиво обставленная, располагалась на третьем этаже нашего дома. На стенах висели темные бухарские, исфаханские, кашанские ковры. В извивах их узоров угадывались очертания садов и озер, лесов и рек – таких, какими представляли они в фантазии ткача, совершенно незаметные глазу невежды и невыразимо прекрасные для взора знатока. Кочевницы из далеких пустынь собирали в диких зарослях колючего терновника травы, из которых изготавливали красители. Тоненькие длинные пальчики выжимали сок из этих трав. Тайне этих нежных красок много веков, и зачастую ткачу требовалось целое десятилетие, чтобы завершить свой чудесный шедевр. Потом он вешает на стену ковер, испещренный таинственными символами, украшенный едва намеченными, лишь угадываемыми сценами охоты и рыцарских поединков, обрамленный каллиграфически вытканной строкой: стихом ли Фирдоуси, мудрым ли изречением Саади. Из-за множества ковров комната кажется темной. Низкий диван, два табурета, инкрустированных перламутром, много мягких подушек – и по всему этому разбросаны вызывающие крайнее раздражение и крайнюю же скуку книги, вместилище западной премудрости: учебники по химии, латыни, физике, тригонометрии – вздор, придуманный варварами, чтобы скрыть свое варварство.

Я со стуком захлопнул книги и вышел из комнаты. Узенькая застекленная веранда, откуда открывался вид на двор, вела на плоскую крышу дома. Я поднялся наверх. Стоя на крыше, я окинул взглядом свой мир: толстую крепостную стену старого города и руины дворца с арабской надписью над входом. По лабиринту старинных улиц шествовали верблюды с такими тоненькими лодыжками, что возникало искушение их погладить. Передо мной возвышалась приземистая круглая Девичья башня – любимый предмет легенд и путеводителей. Дальше, за нею, начиналось море, лишненное всякой истории, свинцово-серое, бездонное Каспийское море, а за моей спиной простиралась пустыня с ее острыми утесами, песком и саксаулом, спокойная, безмолвная и непобедимая, самый прекрасный пейзаж на свете.

Я тихо сидел на крыше. Меня совершенно не интересовало, что существуют другие города, другие крыши и другие пейзажи. Я любил плоское море, и плоскую пустыню, и затесавшийся меж ними старый город, его разрушенный дворец и шумных людей, которые прибывали в этот город, искали нефть, а потом, разбогатев, уезжали отсюда, потому что не любили пустыню.

Слуга принес чай. Я отпивал глоток за глотком и думал о выпускных испытаниях. Они не слишком-то меня тревожили. Разумеется, я выдержу. Но даже если и останусь на второй год, тоже не беда. Тогда крестьяне у нас в имениях скажут, что я, со всем пылом возревновав о приличествующей мудрецу учености, не пожелал покинуть дом знания. Да и в самом деле жаль было уходить из гимназии. Серая форма с серебряными пуговицами и кокардой выглядела элегантно. В штатском платье вид у меня будет куда невзрачнее. Однако штатское платье носить я буду недолго. Всего одно лето, а потом – да, потом поступлю в Лазаревский институт восточных языков в Москве. Я сам его выбрал, там у меня будет немалое преимущество перед русскими. То, что им придется заучивать с трудом, я знаю сызмальства. А еще, нет красивее формы, чем у студентов Лазаревского института: красный мундир с золотым воротником, с узкой позолоченной шпагой и лайковыми перчатками даже по будням. Не будешь носить форму – русские тебя уважать не станут, а если русские меня уважать не станут, Нино за меня не пойдет. Но я должен во что бы то ни стало жениться на Нино, хотя она и христианка. Грузинки – самые прекрасные женщины на свете. А если она не захочет за меня выйти? Что ж, тогда я призову себе в помощь парочку лихих молодцов, переброшу Нино через седло и умчу ее через персидскую границу в Тегеран. Тогда уж она за меня непременно пойдет, что же еще ей останется-то?

Если смотреть с крыши нашего бакинского дома, жизнь представлялась прекрасной и несложной.

Керим, слуга, тронул меня за плечо.

– Пора, – промолвил он.

Я встал. Действительно, мне стоило поторопиться. На горизонте, за островом Наргин, показался пароход. Если верить бланку с печатным текстом, доставленному нам домой телеграфистом-христианином, то на этом пароходе плыл к нам мой дядя со своими тремя женами и двумя евреями. Мне надлежало его встретить. Я сбежал по лестнице. Мне подали карету, и мы быстро покатали вниз, к шумной гавани.

Мой дядя занимал весьма высокое положение. Шах Насер ад-Дин удостоил его особой милости, даровав ему титул Ассад ад-Довле – «Лев империи». Иначе его и величать нельзя было. У него было три жены, множество слуг, дворец в Тегеране и обширные поместья в Мазендеране. Ради одной из своих жен, малютки Зейнаб, он и прибыл в Баку. Ей сравнялось всего восемнадцать, и дядя любил ее больше прочих жен. Она была больна, она не могла забеременеть, а именно от нее дядя хотел детей. Для исцеления от бесплодия она уже ездила в Хамадан. Там посреди пустыни возвышается высеченная из красноватого камня статуя льва, устремившего задумчивый взор куда-то вдаль. Ее воздвигли древние цари, от которых и имен не осталось. Вот уже много веков женщины совершают паломничество к этому каменному льву, уповая на то, что теперь смогут испытать радость материнства и родить множество детей. Но лев не помог бедняжке Зейнаб. Столь же бессильны оказались амулеты дервишей из Кербелы, заклинания мудрецов из Мешхеда и тайные искусства тегеранских старых ведьм, знающих все секреты любви. Теперь она приехала в Баку, чтобы благодаря знаниям западных врачей излечиться от недуга, который не сумела победить местная, восточная, мудрость. Бедный дядя! Ему пришлось взять с собой и двух других жен, старых и нелюбимых. Этого требовал обычай: «Можете иметь одну, двух, трех или четырех жен, если будете обращаться с ними одинаково». Но обращаться одинаково означает и одаривать одинаково, и радовать одинаково – и вот уже все три жены едут вместе с моим дядей в Баку.

По совести говоря, меня все это касаться не должно. Женщинам место в андеруне, закрытых от посторонних глаз домашних покоях. Благовоспитанный человек не упоминает о женах, не задает о них вопросов и не передает им привет. Они – тени своих мужей, даже если их мужьям покойно только в тени этих женщин. Это мудрый, добродетельный обычай. «У женщины ума не больше, чем на курином яйце волос», – гласит одна из наших пословиц. Созданий, лишенных ума, надлежит неусыпно охранять, а не то они навлекут несчастье на себя и на других. Думаю, это мудрое правило.

Маленький пароход подошел к причалу. Матросы с широкой волосатой грудью спустили сходни. Пассажиры – русские, армяне, евреи – ринулись вниз в безумной спешке, торопясь как можно скорее попасть на твердую землю, словно речь идет о жизни и смерти. Мой дядя не показывался. «Торопливость внушает дьявол», – всегда повторял он. И только когда все пассажиры сошли на берег, на палубе показалась величественная фигура «Льва империи».

Он был облачен в сюртук с шелковыми лацканами, на голове его красовалась маленькая круглая черная каракулевая шапочка, а на ногах – туфли без задников. Его окладистая борода была крашена хной, как и ногти, в память о крови, тысячу лет тому назад пролитой мучеником Хуссейном за истинную веру. Маленькие его глазки смотрели устало, двигался он медленно. За ним шагали, явно взволнованные, три женщины, с головы до пят окутанные непрозрачным черным покрывалом, – его жены. А за ними шествовали двое евнухов, которым вменялось в обязанность оберегать честь его светлости: один, всем своим ученым видом напоминавший засушенную ящерицу, другой – маленький, пухлый и горделивый.

Дядя медленно сошел по сходням. Я обнял его и почтительно поцеловал в левое плечо, хотя на улице такое изъяснение вежливости и не считалось обязательным. Его жен я не удо-

стоил и взглядом. Мы сели в карету. Женщины и евнухи поехали следом в закрытых колясках. Перед нами открывался столь восхитительный вид, что я приказал кучеру двинуться в объезд по Приморскому бульвару: пусть дядя, как положено, восхитится моим городом.

На Приморском бульваре стояла Нино, глядя на меня смеющимися глазами.

Дядя, неторопливо, с достоинством поглаживая бороду, спросил, что нового в городе.

– Да ничего особенного, – произнес я, вполне осознавая свою задачу: мне надлежало начать с каких-то пустых мелочей и лишь потом перейти к вещам действительно важным. – Дадаш-бек на прошлой неделе заколол Ахунда-заде, потому что Ахунд-заде вернулся в город, хотя восемь лет тому назад он похитил жену Дадаш-бека. Дадаш-бек заколол его в тот же день, когда он приехал в город. Теперь его разыскивает полиция. Но не найдет, притом что все знают, что Дадаш-бек засел в Мардакяне. Умные люди говорят, Дадаш-бек поступил правильно.

Дядя одобрительно кивнул:

– Нет ли еще каких новостей?

– Да, в Биби-Эйбате русские открыли очередное богатое месторождение нефти. Нобель привез в наши края большую немецкую машину, чтобы засыпать часть моря и пробурить нефтяные скважины.

Дядя очень удивился.

– Аллах, Аллах, – промолвил он, озабоченно поджав губы.

– Дома у нас все благополучно, и, если Богу будет угодно, на следующей неделе я покину дом знания.

Так я говорил и говорил, а старик с торжественным и сосредоточенным видом слушал. И только когда карета уже стала подъезжать к нашему дому, я отвел глаза в сторону и произнес:

– В город приехал из России один знаменитый врач. По слухам, он очень сведущ в своем ремесле и по лицу человека читает его прошлое и настоящее, чтобы провидеть его будущее.

Дядя внимал мне с притворной скукой, приличествующей его положению, слегка прикрыв глаза. Совершенно безучастно спросил он меня, как зовут мудреца, и я понял, что он очень доволен мною. Ибо я вел себя, как пристало достойному, хорошо воспитанному молодому человеку.

Глава вторая

Втроем – мой отец, мой дядя и я – сидели мы на плоской, защищенной от ветра крыше нашего дома. Было очень тепло. На крыше были разостланы мягкие разноцветные карабахские ковры, украшенные варварскими гротескными узорами, и мы сидели на них по-турецки. За спиной слуги держали фонари. Перед нами на ковре было расставлено великое множество восточных лакомств: пахлава, засахаренные фрукты, барашек на вертеле, плов с курицей и изюмом.

Как и прежде, я восхищался изяществом, с которым вкушали яства мой отец и мой дядя. Одной правой рукой они отрывали большие куски лепешек, раздвигали их, словно кармашек, наполняли мясом и отправляли в рот. Необычайно элегантно мой дядя запускал три пальца правой руки в блюдо с жирным дымящимся пловом, брал горстку, сминал ее, вылепливая шарик, и клал в рот, не уронив ни единого рисового зернышка.

Ей-богу, русские непомерно кичатся своим умением есть ножом и вилкой, хотя и дурак овладеет им за какой-нибудь месяц. Я спокойно ем ножом и вилкой и знаю, как положено вести себя за столом у европейцев. Но хотя мне уже восемнадцать, я не могу с таким же благородством манер, как мой отец и мой дядя, всего тремя пальцами правой руки расправляться с целым рядом восточных яств, даже не запачкав ладонь. Нино называет наши застольные обычаи варварскими. В доме Кипиани всегда едят, сидя за столом, по-европейски. У нас так едят, только когда в гости приходят русские, и Нино ужасается при мысли, что я сижу на ковре и ем руками. Она забывает, что ее собственный отец впервые взял в руки вилку, когда ему исполнилось двадцать.

Пужинав, мы помыли руки. Дядя произнес краткую молитву. Потом кушанья унесли. Подали маленькие чашечки с густым темным чаем, и дядя принялся разглагольствовать, как это обычно делают пожилые люди после обильной трапезы, пространно и весьма многословно. Мой отец лишь иногда вставлял несколько слов, а я и вовсе молчал, как того требовал обычай. Говорил только мой дядя, а предметом своим, как всегда приезжая в Баку, избирал времена великого Насер ад-Дина, при дворе которого он некогда играл важную, хотя и не очень понятную роль.

– Тридцать лет, – промолвил дядя, – возлежал я на ковре милостей, каковых достаивал меня по доброте своей шахиншах. Трижды его величество брал меня с собою в заграничные путешествия. Во время этих поездок я узнал мир неверных лучше, чем кто бы то ни было. Мы посещали императорские и королевские дворцы и встречались с самыми знаменитыми христианами нашего времени. Это очень странный мир, но самое странное в нем то, как там обходятся с женщинами. Женщины, даже супруги королей и императоров, расхаживают по дворцам, сильно оголившись, и никого это не возмущает, быть может, потому, что среди христиан нет настоящих мужчин, быть может, по какой-то иной причине, одному Аллаху ведомо. Зато неверных возмущают совершенно безобидные вещи.

Однажды его величество был приглашен на пир к царю. Рядом с ним сидела царица. На тарелке его величества лежал лакомый кусочек курятины. Его величество взял этот лакомый жирный кусочек – как полагается по всем правилам, тремя перстами правой руки – и переложил его со своей тарелки на тарелку царицы, чтобы тем самым оказать ей любезность. Однако царица побледнела как полотно и от страха закашлялась. Позднее до нас дошли слухи, что многие придворные и великие князья были до глубины души потрясены этим простым жестом вежливости, совершенным его величеством шахом. Вот сколь унижительное положение занимают у европейцев женщины! Их оголяют перед всем миром, с ними можно обходиться сколь угодно невежливо! Французскому посланнику было даже позволено после окончания пира обнять супругу царя и закружиться с ней по залу под звуки отвратительной музыки! Сам

царь и многие офицеры его гвардии взирали на это зрелище совершенно спокойно, и никто и не подумал защищать честь царя.

В Берлине мы стали свидетелями зрелища еще более странного. Нас привели в оперу. На большой сцене стояла толстуха и пела омерзительным голосом. Опера называлась «Африканка»¹. Голос певицы не пришелся нам по вкусу. Кайзер Вильгельм, заметив это, тотчас повелел наказать эту женщину. В последнем акте на сцену высыпало множество негров, где они сложили большой костер. Женщину связали и сожгли на медленном огне. Этим мы были очень довольны. Потом нам сказали, что костер разожгли не всерьез, а только для виду, бутафорский. Но мы в это не поверили, ведь певица на костре издавала крики столь же ужасные, сколь и еретичка Куррат-уль-Айн², которую незадолго до этого шах приказал сжечь в Тегеране.

Дядя замолчал, предавшись воспоминаниям. Потом глубоко вздохнул и продолжал:

– Одного только не могу я понять в христианах: у них лучшее оружие, лучшие солдаты и лучшие заводы и фабрики, чтобы производить все необходимое для убийства врагов. Всякого, кто изобрел что-либо, чтобы убивать с удобством, быстро и в массовых масштабах, прославляют, удостоивают высоких почестей, награждают орденом. Его непременно ждет богатство. Хорошо, пусть так, ведь без войны не обойтись. Но с другой стороны, европейцы строят больницы, а человека, который во время войны лечит и кормит вражеских солдат, тоже прославляют, удостоивают высоких почестей и награждают орденом. Шах, мой достославный повелитель, всегда удивлялся тому, что в Европе одинаково чествуют за совершенно противоположные поступки и устремления. Однажды он говорил об этом с императором в Вене, но и император не смог объяснить ему это странное обыкновение. Зато нас европейцы, напротив, презирают и хулят за то, что враги для нас – враги, за то, что мы убиваем своих врагов и не щадим. Они презирают нас за то, что нам позволено иметь четырех жен, хотя у них самих частенько бывает и больше четырех, за то, что мы живем и правим так, как нам повелел Аллах.

Дядя замолчал. Стемнело. Тень его походила на тощую старую птицу. Он приосанился, откашлялся по-стариковски и с сердцем произнес:

– И все же, хотя мы и делаем все, что повелевает нам Аллах, а европейцы – ничего из того, что повелевает им христианский Бог, их сила и могущество неуклонно возрастают, а наши неуклонно умаляются. Кто объяснит мне, в чем причина такой несправедливости?

Мы этого объяснить не могли. Он поднялся, усталый, измученный старик, и, пошатываясь, нетвердыми шагами спустился к себе в покои.

Мой отец последовал за ним. Слуги унесли чайные чашки. Я остался на крыше один. Спать мне пока не хотелось.

Тьма окутала город, который напоминал зверя, залегшего в засаде, готового вот-вот броситься на жертву или начать игру. Собственно, существовали два города, и один покоился в объятиях другого, словно орех в скорлупе.

Скорлупой можно было считать внешний город, расположенный за пределами старой стены. Улицы там были широкие, дома высотные, люди алчные и шумные. Этот внешний город был обязан своим возникновением нефти, добываемой в нашей пустыне и составляющей наше богатство. Театры, школы, больницы, библиотеки, полицейские, красавицы с обнаженными плечами – все это был внешний город. Если во внешнем городе стреляли, то лишь ради денег. Во внешнем городе начиналась географическая граница Европы. Во внешнем городе жила Нино.

А вот за старой стеной дома были узкие и кривые, словно клинки восточных сабель. Минареты мечетей пронзали нежную луну совсем не так, как буровые вышки семейства

¹ Опера Джакомо Мейербера на либретто Эжена Скриба (1865). – *Здесь и далее примеч. перев.*

² *Куррат-уль-Айн* (наст. имя Фатиме Заррин-Тадж Барагини Казвини; 1814 (1817?) – 1852) – иранская поэтесса, богослов, проповедница Веры Баби (бахаизма), борец за права женщин.

Нобель. На восточной оконечности стены, обнимающей старый город, возвышается Девичья башня. Мехмед Юсуф-хан, правитель Баку, возвел ее в честь своей дочери, которую захотел взять в жены. Но брак этот не был заключен. Когда похотливый отец стал всходить по ступеням, ведущим в ее опочивальню, дочь бросилась с башни вниз. Камень, о который разбила она голову, величают Камнем Девы. Иногда невесты перед свадьбой возлагают у этого камня цветы.

Часто обагряла кровь улицы нашего города. И эта пролитая кровь вселяет в нас силы и мужество.

Прямо перед нашим домом виднеются ворота князя Цицианова, и возле них тоже пролилась кровь, яркая и благородная. Случилось это много лет тому назад, когда наша земля входила еще в состав Персии и платила дань правителю Азербайджана. Князь Цицианов, генерал царской армии, осадил наш город. В городе правил Хусейн-Кули-хан. Он открыл ворота города, впустил князя и объявил, что сдается великому белому царю. Князь въехал в город в сопровождении всего нескольких офицеров. На площади за воротами был устроен пир. Горели огромные костры, на вертелах поджаривались целые воловь туши. Опыяненный вином, князь Цицианов склонил усталую голову на грудь хана Хусейн-Кули. Тут мой далекий предок, Ибрагим-хан Ширваншир, обнажил длинный кривой кинжал и протянул его правителю. Хусейн-Кули-хан медленно перерезал им горло князю. Кровь хлынула на кафтан Хусейна-Кули, но он все резал и резал, пока не отделил голову князя от тела. Голову положили в мешок с солью, и мой предок привез ее в Тегеран шахиншаху. Но царь преисполнился решимости отомстить за убийство. Он послал на штурм Баку множество солдат. Хусейн-Кули затворился во дворце, молился и думал о завтрашнем дне. Когда царские солдаты поднялись на стены крепости, он по подземному ходу, ныне засыпанному, бежал на море, а оттуда в Персию. Прежде чем войти в подземный ход, он начертал на входной двери одно-единственное, но мудрое изречение: «Тот, кто думает о завтрашнем дне, утрачивает мужество».

Возвращаясь домой из гимназии, я часто выбирал путь через руины дворца. Зал с величественными мавританскими колоннадами, где некогда хан вершил правосудие, сегодня опустел и стал рушиться. Всякий бакинец, добывающий своих прав, ныне должен обращаться к русскому судье за крепостной стеной. Но так поступают лишь редкие кляузники. Не потому, что русские судьи жестоки и несправедливы. Они гуманны и справедливы, но справедливость их не по нраву нашему народу. Допустим, вор попадает в тюрьму. Там он сидит в чистой камере, пьет чай, иногда даже с сахаром. И никому это не идет на пользу, и менее всего обокраденному. Глядя на такой приговор, народ пожимает плечами и сам решает, по каким законам судить преступника. После полудня истцы приходят в мечеть, мудрые старцы садятся в кружок и вершат правосудие по законам шариата, по законам Аллаха: «Око за око, зуб за зуб». Ночью по узким переулкам старого города иногда крадучись пробираются какие-то закутанные до глаз в плащи люди. Сверкнет кинжал, раздастся сдавленный крик, и вот уже правосудие свершилось. Кровная вражда стучится в один дом за другим. Однако к русскому судье обращаются редко, а того, кто так поступает, презирают мудрецы, а дети на улице осыпают насмешками, показывая язык.

Иногда по ночным улицам старого города проносят мешок. Из мешка раздаются приглушенные стоны. И вот уже морские волны с тихим всплеском принимают тяжелую ношу, мешок исчезает под водой. На следующий день какой-нибудь мужчина сидит у себя в комнате на полу в разодранной одежде, с глазами, полными слез, ибо он исполнил закон Аллаха и покарал преступника смертью.

Наш город хранит множество тайн. В его укромных уголках скрывается множество невиданных чудес. Я люблю эти чудеса, эти укромные уголки, эту тьму, оживляемую по ночам рокотом моря, эти послеполуденные безмолвные размышления во дворе мечети, когда все замирает от жары и воцаряется тишина. По воле Аллаха я родился здесь мусульманином-шиитом, последователем учения имама Джафара. Пусть смилуется Он надо мною и позволит мне и

умереть здесь же, на той же улице, в том же доме, где я родился. Мне и Нино, грузинке и христианке, которая ест ножом и вилкой, у которой смеющиеся глаза и которая носит тонкие, прозрачные шелковые чулки.

Глава третья

Парадный мундир выпускников гимназии украшал воротник с серебряными галунами. Серебряная поясная бляха и серебряные же пуговицы были начищены до блеска. От жесткого серого сукна еще исходило тепло утюга. Мы стояли в зале гимназии, обнажив головы, стараясь не шуметь. Торжественная церемония экзамена началась с того, что все мы вознесли молитву о помощи Богу, почитаемому в православной церкви, хотя ее официальное учение исповедовали лишь двое из нас.

Поп в тяжелом, расшитом золотом праздничном облачении, с длинными надушенными волосами, держа в руке большой золотой крест, начал читать молитву. Зал наполнился ладаном, учитель и двое последователей официальной церкви преклонили колени.

Слова священника, произносимые нараспев, как принято в православной церковной службе, глухо отдавались под сводами зала, не вызывая у нас отклика. Как часто на протяжении этих восьми лет мы безучастно и равнодушно внимали привычным пышным оборотам:

«...благослови милостью Божией императора и самодержца Всероссийского Николая Второго Александровича... и всех плавающих и путешествующих, всех учащихся и труждающихся, и всех воинов, на поле брани за веру, царя и отечество павших, и всех христиан православных».

Я, скучая, уставился на стену. Там, под двуглавым орлом, в широкой золоченой раме висел, подобно византийской иконе, писанный в полный рост портрет государя, милостью Божией императора и самодержца Всероссийского. У царя было удлиненное лицо, светлые волосы, а взгляд его серых холодных глаз был устремлен в пространство. Грудь его украшало великое множество орденов. Вот уже восемь лет я собирался пересчитать их и снова и снова сбивался, не в силах дойти до конца.

Прежде рядом с портретом государя висел и портрет государыни. Потом его сняли, потому что сельских магометан возмущало открытое платье царицы и они отказывались отдавать детей в гимназию.

Пока поп читал молитву, мы прониклись торжественным настроением. В любом случае наступал чрезвычайно волнующий день. С раннего утра я делал все возможное, чтобы достойно выдержать экзамены. На рассвете я принял решение обходиться со всеми в доме как можно любезнее. Однако, поскольку почти все еще спали, задача эта оказалась неразрешимой. По дороге в гимназию я подавал милостыню каждому встреченному нищему. Осторожность никогда не помешает. Одному я от волнения, не разобрав, даже дал вместо пятака целый рубль. Когда он принялся рассыпаться в благодарностях, я с достоинством произнес: «Благовари не меня, но Аллаха, ибо моей рукой дарует тебе Он!»

Не может же быть, чтобы после столь благочестивых изречений я провалился.

Молебен завершился. Гуськом потянулись мы к столу экзаменаторов. Экзаменационная комиссия напоминала пасть допотопного чудовища: бородатые лица, мрачные взгляды, парадные мундиры с золотым галуном. Все было исполнено торжественности и наводило страх. Впрочем, русские очень редко срезают на экзамене магометан. У любого из нас много друзей, а друзья наши – крепкие молодчики с кинжалами и револьверами. Учителя знают об этом и боятся бешеных, беспашашных бандитов – своих учеников – не меньше, чем ученики их. Перевод в Баку большинство учителей полагают карой Господней. Нередко случается, что на учителей нападают в темном переулке и изрядно поколачивают. Разбирательство всегда заканчивается одинаково: преступников не находят, а учителей поневоле куда-то переводят. Поэтому они и закрывают глаза, когда ученик Али-хан Ширваншир, почти не таясь, списывает на экзамене по математике у своего соседа Метальникова. Только один раз, поймав за списыванием,

учитель подходит ко мне и в отчаянии шипит: «Осторожнее! Смотрите, чтобы не заметили, Ширваншир, мы же не одни!»

Письменная математика прошла без сучка без задоринки. Довольные, побрели мы по Николаевской улице, чувствуя себя почти уже выпускниками. На завтра был назначен письменный экзамен по русскому. Тему, как всегда, доставляли в запечатанном конверте из Тифлиса. Директор взломал печать и торжественно прочел: «Женские образы Тургенева как идеальное воплощение души русской женщины».

Удобная тема. Я мог писать что угодно, только хвалить русских женщин, и высокий балл у меня в кармане. Вот с письменной физикой дело обстояло сложнее. Однако там, где не хватает знаний, на помощь приходит испытанное средство – списывание. Так что и физику я выдержал успешно, а потом комиссия предоставила осужденным однодневную отсрочку.

Затем настала пора устных испытаний. Тут уж не приходилось рассчитывать на хитрость. Надо было давать на простые вопросы замысловатые ответы. Первым экзаменом значился Закон Божий. Гимназический мулла, в длинной, ниспадающей складками накидке, подпоясанный зеленым шарфом, как пристало потомку пророка, обыкновенно скромно державшийся в тени, внезапно занял главное место за экзаменационным столом. Он сочувствовал своим ученикам. У меня он спросил только шахаду, мусульманский символ веры, и отпустил, поставив высший балл, после того как я послушно произнес символ веры в его шиитском изводе: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет – пророк Его, и Али – наместник Его».

Последнее было особенно важно, ведь только упоминание об Али отличало правоверных шиитов от их заблудших братьев – суннитов, которым тем не менее, вероятно, не вовсе было отказано в милости Аллаха. Так учил нас мулла, ибо он придерживался либеральных убеждений.

Напротив, учитель истории был куда как далек от либерализма. Я вытянул билет с вопросом, прочитал его, и мне сделалось не по себе. «Победа Мадатова в битве при Елисаветполе» – значилось в моем билете. Учитель тоже почувствовал некоторую неловкость. В битве при Елисаветполе русские коварно убили того самого знаменитого Ибрагим-хана Ширваншира, который некогда помог Хусейну-Кули отрезать голову князю Цицианову.

– Ширваншир, можете воспользоваться своим правом и выбрать другой билет.

Учитель проговорил это мягко, успокаивающим тоном. Я недоверчиво покосился на стеклянную вазочку, в которой, наподобие лотерейных, лежали экзаменационные билеты. Каждому ученику разрешалось один раз поменять билет. После этого он утрачивал право на высший балл, только и всего. Но я не хотел искушать судьбу. Обстоятельства смерти моего предка были мне, по крайней мере, известны. А ведь из стеклянной вазочки я мог вытянуть и совершенно загадочные вопросы, например о последовательности прусских монархов, всех этих Фридрихов, Вильгельмов и Фридрихов-Вильгельмов, или о причинах американской Войны за независимость. Ну кто во всем этом разберется? Я покачал головой: «Нет, спасибо, я буду отвечать по своему билету».

Потом я поведал, в как можно более вежливых и учтивых выражениях, о персидском шахзаде Аббас-Мирзе, который во главе сорокатысячного войска выступил из Тебриза, чтобы изгнать русских из Азербайджана. И о том, как армянин генерал Мадатов с пяти тысячным войском встретил персов у стен Елисаветполя и приказал стрелять по ним из пушек, после чего Аббас-Мирза упал с коня и заполз в канаву, вся его армия разбежалась, а Ибрагим-хан Ширваншир с горсткой богатырей при попытке переправиться через реку и спастись бегством был взят в плен и расстрелян.

– Русские победили не столько благодаря своему мужеству, сколько благодаря техническому превосходству артиллерии Мадатова. В результате русские смогли заключить на своих условиях Туркманчайский мирный договор, обязывавший персов заплатить дань, сбор какой дани опустошил пять персидских провинций.

Завершив так свой ответ, я оплатился оценкой «хорошо». Я должен был бы сказать: «Русские победили благодаря своему беспримерному мужеству, обратив в бегство в восемь раз превосходившего их врага. В результате стороны смогли заключить Туркманчайский мирный договор, открывший для персов западную культуру и доступ к западным рынкам».

Как бы то ни было, ради чести своего предка я поступился баллом и согласился на «удовлетворительно».

Но вот выпускные испытания завершились. Директор произнес торжественную речь. С достоинством, серьезно и нравоучительно он объявил нас достигшими зрелости, а потом мы бросились вниз по лестнице, точно выпущенные на свободу арестанты. За стенами гимназии нас ослепило солнце. Желтый песок пустыни покрывал уличный асфальт мельчайшими крупинками; городской, который все эти восемь лет снисходительно защищал нас, стоя поблизости на углу, подошел нас поздравить и получил от каждого по полтине. С шумом и криками, ни дать ни взять разбойничья шайка, кинулись мы по улицам.

Я поспешил домой и был встречен, как Александр после победы над персами. Слуги поглядывали на меня с благоговейным ужасом. Отец расцеловал меня и обещал выполнить три любых желания. Дядя полагал, что столь знающему человеку место при дворе, в Тегеране, где его, несомненно, ожидает блестящая будущность.

Когда первое волнение улеглось, я украдкой проскользнул к телефону. Целых две недели я не говорил с Нино. Мудрое правило предписывает мужчине избегать общения с женщинами, если ему предстоит решать жизненно важные вопросы. Но сейчас я бросился к уродливому телефонному аппарату, покрутил ручку и крикнул в трубку:

- Тридцать три – восемьдесят один!
- Выдержал, Али? – откликнулся на другом конце провода голос Нино.
- Да, Нино!
- Поздравляю, Али!
- Когда и где, Нино?
- В пять у пруда в Губернаторском саду, Али.

Разговаривать дальше было опасно, ведь за моей спиной замерли в ожидании, так и норовя что-нибудь подслушать, родственники, слуги и евнухи, а за спиной Нино – ее аристократическая матушка. А потому довольно. К тому же бестелесный голос – явление настолько странное, что даже не радует по-настоящему.

Я поднялся в большой покой отца. Он сидел на диване и пил чай. Рядом с ним расположился дядя. Вдоль стен стояли слуги, не сводя с меня глаз. Выходит, испытания для меня еще не кончились. На пороге зрелости отец должен был по всей форме, прилюдно дать сыну наставления и мудрые советы. Это было трогательно и немного старомодно.

– Сын мой, теперь, когда ты вступаешь в жизнь, я обязан еще раз напомнить тебе об обязанностях мусульманина. Мы живем здесь в окружении неверных. Дабы не погибнуть, нам надлежит придерживаться старинных нравов и обычаев. Почаще молись, сын мой, не пей вина, не целуй чужих женщин, благотвори бедным и слабым и будь всегда готов обнажить меч и пасть за веру. Если ты с честью погибнешь на поле брани, мне, старику, будет больно, но если ты останешься в живых, утратив честь, мне, старику, будет стыдно. Никогда не прощай врагам, сын мой, мы же не христиане. Никогда не думай о завтрашнем дне, ибо это внушает страх и превращает в труса, и не забывай веру Магомета в ее шиитском изводе, как учил ей имам Джафар.

Дядя и слуги внимали с торжественным и мечтательным выражением лица. Слова отца они слушали как откровение. Потом отец встал, взял меня за руку и произнес внезапно дрогнувшим, сдавленным голосом:

– И еще об одном умоляю тебя: не занимайся политикой! Чем угодно, только не политикой!

Я с легким сердцем поклялся этого не делать. От политики я был весьма и весьма далек. Насколько я понимал, моя влюбленность в Нино порождала трудности отнюдь не политического свойства. Отец еще раз обнял меня. Теперь я окончательно достиг зрелости.

В половине пятого я, по-прежнему в полной парадной форме, медленно шагал по Крепостному переулку в сторону Приморского бульвара. Потом повернул направо, мимо Губернаторского дворца, к саду, который ценой невероятных усилий разбили некогда на засушливой бакинской почве.

Меня охватило странное чувство освобождения. Мимо прокатил в коляске городской голова, и мне уже не требовалось ни стоять по стойке смирно, ни отдавать честь, как надлежало на протяжении восьми гимназических лет. Серебряную кокарду с инициалами Бакинской гимназии я торжественно выломал с фуражки. Я разгуливал по саду как частное лицо и на миг испытал даже искушение открыто закурить папиросу. Однако мое отвращение к табаку пересилило соблазны свободы. Я не стал курить и повернул в парк.

Это был большой пыльный сад с редкими, печальными деревьями и заасфальтированными дорожками. Справа возвышалась крепостная стена. Посреди сада поблескивали беломраморные дорические колонны городского клуба. Между деревьями были установлены бесчисленные скамейки. Несколько запыленных пальм приютили трех фламинго, неподвижно взиравших на опускающийся за горизонт красный шар солнца. Неподалеку от клуба был вырыт пруд, то есть огромный, выложенный каменными плитами круглый глубокий бассейн, который по замыслу городской управы предстояло наполнить водой и населить лебедями. Однако далее намерений дело не пошло. Вода в Баку дорогая, а лебедей и вовсе не найти. Вот потому-то бассейн навечно вперился в небо пустой глазницей мертвого циклопа.

Я сел на скамейку. Солнце пробивалось из-за хаотичного нагромождения серых квадратных домов с плоскими крышами. Тень дерева за моей спиной становилась все длиннее. Стуча туфлями без задников, прошла мимо женщина, укутанная покрывалом в синюю полоску. Из-под покрывала показался длинный, изогнутый, как клюв хищной птицы, нос, словно нацеленный на меня. Я ощутил странную усталость. Как хорошо, что Нино не носит покрывала и что нос у нее не длинный и не изогнутый. Нет, я никогда не заставлю ее носить покрывало. А вдруг все-таки да? Я и сам уже точно не знал. Лицо Нино предстало передо мной в лучах заходящего солнца. Нино Кипиани, с красивым грузинским именем, с достойными родителями, выбравшими европейский образ жизни. Да какое мне дело до имен и родителей! У Нино была светлая кожа и большие, смеющиеся, сияющие, темные кавказские глаза с длинными, нежными ресницами. Только у грузинок бывают такие глаза, исполненные мягкой, приглушенной веселости. Больше ни у кого. Ни у европейцев. Ни у азиаток. Тонкие, прочерченные полумесяцем брови и профиль Мадонны. Я погрузился. Меня опечалило это сравнение. Мужчин на Востоке с кем только не сравнивают. А вот женщин остается лишь уподобить христианской Мириам, символу чужого, непонятного мира.

Я опустил голову. Передо мной пролегла заасфальтированная дорожка Губернаторского сада, покрытая пылью великой пустыни. Песок ослеплял. Я закрыл глаза. И тут над ухом у меня раздался детски непринужденный, радостный смех.

– Святой Георгий! Надо же, Ромео заснул, поджидая свою Джульетту!

Я вскочил. Рядом со мной стояла Нино. На ней по-прежнему было скромное синее форменное платье гимназии Святой царицы Тамары. Она была стройна, даже слишком стройна на восточный вкус. Однако именно этот недостаток пробуждал во мне нежность и сочувствие. Ей было семнадцать, и я знал ее с того дня, когда она впервые прошла по Николаевской улице в гимназию.

Нино села на скамью. Глаза ее сияли из-под густых, тонких, изогнутых грузинских ресниц.

– Так, значит, все-таки выдержал? Я за тебя немножко боялась.

Я обнял ее за плечи:

– Да, было чуть-чуть тревожно. Но ты же знаешь, Бог не оставит благочестивого.

Нино улыбнулась:

– Через год ты станешь для меня богом. Жду, что во время испытаний ты спрячешься у меня под партой и шепотом будешь мне подсказывать на математике.

Так было установлено раз и навсегда много лет тому назад, с того самого дня, когда двенадцатилетняя Нино на большой перемене в слезах прибежала к нам в гимназию и притащила меня к себе в класс, а я спрятался у нее под партой и шепотом подсказывал ей решение математических задач. С тех пор Нино видела во мне героя.

– А как поживает твой дядя с его гаремом? – спросила Нино.

Я принял важный, торжественный вид. Собственно говоря, все происходящее в гареме надлежало хранить в тайне. Однако перед невинным любопытством Нино не могли устоять никакие законы восточной нравственности. Я произнес, лаская ее мягкие, густые черные кудри:

– Гарем моего дяди вот-вот отправится назад, на родину. Как ни странно, по слухам, западная медицина сумела помочь. Впрочем, доказательств еще нет. Пока надежд преисполнился только мой дядя, но не моя тетя Зейнаб.

Нино нахмурила детский лобик:

– Вообще-то, все это некрасиво. Моим родителям не по душе такие нравы, гарем – это что-то постыдное.

Она говорила как школьница, повторяющая затверженный наизусть урок. Я дотронулся губами до ее ушка.

– Я не заведу гарема, Нино, обещаю, ни за что на свете.

– Зато ты наверное заставишь жену носить покрывало!

– Может быть, кто знает! Покрывало – вещь полезная. Защищает от солнца, пыли и от чужих взглядов.

Нино покраснела.

– Ты навсегда останешься азиатом, Али! Ну какое тебе дело до чужих взглядов? Женщине хочется нравиться.

– Но нравиться она должна только своему мужу. Открытое лицо, нагая спина, полуобнаженная грудь, прозрачные чулки на стройных ногах – все это обещания, и женщина должна их сдерживать. Мужчина, который видит женщину настолько оголенной, захочет увидеть и больше. Чтобы уберечь мужчину от таких желаний, и существует покрывало.

Нино удивленно поглядела на меня:

– Как ты думаешь, в Европе семнадцатилетние девушки и девятнадцатилетние юноши тоже говорят о таких вещах?

– Наверное, нет.

– Тогда и мы больше не будем об этом, – строго сказала Нино, поджав губы.

Я погладил ее по волосам. Она подняла голову. На глаза ее упал последний луч заходящего солнца. Я склонился к ней... Я целовал долго и нецеломудренно. Она тяжело дышала. Глаза у нее закрылись, на лицо легла тень длинных ресниц. Потом она вырвалась. Мы молча уставились в темноту. Спустя некоторое время мы, несколько пристыженные, поднялись со скамьи. Держась за руки, мы вышли из сада.

– Все-таки надо было мне надеть покрывало, – сказала она у выхода.

– Или сдерживать обещание.

Она смущенно улыбнулась. Все снова стало простым и понятным. Я проводил ее до дома.

– Я, конечно, приду на ваш бал! – промолвила она на прощание.

– А что ты делаешь летом, Нино? – не отпуская ее руку, спросил я.

– Летом? Мы едем в Карабах, в Шушу. Но только не воображай, что можешь отправиться за нами следом, так тебе и позволят.

– Что ж, хорошо, тогда увидимся летом в Шуше.

– Ты невыносим. Сама не знаю, за что ты мне нравишься.

Дверь за ней захлопнулась. Я пошел домой. Евнух моего дяди, похожий на мудрую сушеную ящерицу, с ухмылкой посмотрел на меня:

– Грузинки очень хороши, хан. Не стоит только лобзать их на виду у всех, в саду, где могут увидеть всякую минуту.

Я ущипнул его за дряблую щеку. Евнух имеет право говорить любые дерзости, он ведь не мужчина и не женщина. Он существо бесполое.

Я поднялся к отцу.

– Ты обещал исполнить три моих желания. Первое я уже выбрал. Это лето я хочу один провести в Карабахе.

Отец посмотрел на меня долгим взглядом, а потом с улыбкой кивнул.

Глава четвертая

Зейнал-ага был простым крестьянином из деревни Бинагади, что неподалеку от Баку. Он владел клочком скудной, засушливой земли в пустыне и возделывал ее до тех пор, пока во время рядового, небольшого землетрясения на его участке вдруг не открылась трещина и из трещины этой не хлынул поток нефти. Отныне Зейнал-аге не требовались ни ум, ни сноровка. Золото само потекло ему в руки. Он раздавал золото великодушно и даже расточительно, однако оно только прибывало и обрушивалось на бывшего крестьянина тяжким бременем, пока совершенно его не измучило. Рано или поздно за такой удачей не могла не последовать расплата, и Зейнал-ага стал жить в ожидании подобного возмездия, словно приговоренный в ожидании казни. Он строил мечети, больницы, тюрьмы. Совершил паломничество в Мекку и основывал детские приюты. Но несчастье не обмануть и не подкупить. Его восемнадцатилетняя жена, с которой он вступил в брак семидесятилетним, навлекла позор на его имя. Он восстановил свою честь, как положено по обычаю, жестоко и неумолимо, и после этого преисполнился невыразимой усталости. Семья его распалась, один сын покинул его, другой покрыл его главу несмываемым позором, совершив грех самоубийства.

Отныне он жил в своем бакинском дворце из сорока покоев – седой, печальный, согбенный. Ильяс-бек, единственный оставшийся у него сын, был нашим однокашником, и потому бал по случаю окончания гимназии устроили у Зейнал-аги, в самом большом зале его дома, под гигантским потолком из матового горного хрусталя.

В восемь часов я поднимался по широкой мраморной лестнице. Наверху гостей встречал Ильяс-бек. Как и я, он был облачен в черкесский костюм с изящным, тонким кинжалом на поясе. Как и я, он не снимал каракулевой папахи, ведь отныне и мы имели право не обнажать головы.

– Селям-алейкум, Ильяс-бек! – воскликнул я, дотронувшись правой рукой до шапки.

Мы поприветствовали друг друга по старинному местному обычаю: правой рукой я пожал его правую руку, а левой – его левую.

– Сегодня закрывают лепрозорий, – прошептал мне Ильяс-бек.

Я довольно кивнул.

Историю с лепрозорием втайне выдумал наш класс. Русские учителя, даже если они много лет преподавали в нашем городе, не имели о местной жизни ни малейшего представления. Поэтому мы убедили их, что поблизости от Баку якобы располагается лепрозорий. Когда кто-нибудь из нас хотел прогулять уроки, наш староста являлся к классному наставнику и, стуча зубами от страха, объявлял, что несколько больных сбежали из лепрозория в город. Их якобы разыскивает полиция. Предположительно, они-де скрываются именно в том квартале, где живут такие-то и такие-то. Классный наставник, побледнев, освобождал «таких-то» и «таких-то» от занятий вплоть до задержания больных. Отпуск мог длиться неделю или дольше, смотря по обстоятельствам. Никому из учителей так и не пришлось в голову справиться в санитарном управлении, действительно ли поблизости от города существует лепрозорий. Учителя явно полагали, что в нашем диком, зловещем краю каких только ужасов не сыскать. Однако сегодня должно было состояться торжественное закрытие лепрозория.

Я вошел в уже переполненный зал. В углу, окруженный учителями, с важным видом сидел директор нашей гимназии, действительный тайный советник Василий Григорьевич Храпко. Я подошел к нему и почтительно поклонился. На протяжении гимназических лет я представлял интересы учеников-магометан перед директором, поскольку от природы наделен талантом с легкостью распознавать языки и наречия и подражать им. Если большинство из нас не произнесут и одного русского предложения, тотчас же не обнаружив в себе инородцев, то я владел даже отдельными русскими говорами. Наш директор был родом из Петербурга, поэтому

с ним полагалось говорить по-петербургски, то есть согласные произносить шепеляво, а гласные проглатывать. Получается малопривно, но чрезвычайно утонченно. Директор никогда не замечал насмешки и радовался «успешно продвигающейся русификации этой далекой окраины».

– Добрый вечер, господин директор, – скромно сказал я.

– Добрый вечер, Ширваншир, вы уже пришли в себя после ужасов, пережитых на выпускных испытаниях?

– О да, господин директор. Но тем временем на меня обрушилась ужасная новая напасть.

– И что же это?

– Вы не знаете, что произошло в лепрозории? Мой двоюродный брат Сулейман видел все собственными глазами, он ведь служит в Сальянском полку поручиком. От увиденного и пережитого он сделался совсем больным, мне пришлось за ним ухаживать.

– А что же случилось в лепрозории?

– Как? Господин директор не знает? Все больные вырвались оттуда и вчера двинулись на город. Против них пришлось выслать две роты Сальянского полка. Прокаженные захватили две деревни. Солдаты окружили их и расстреляли всех, больных и здоровых. Сейчас сжигают зараженные дома. Разве это не ужасно, господин директор? Лепрозория больше нет. Прокаженные с отваливающимися руками и ногами, с гноящимися язвами на лице, иногда еще живые, хрипящие в агонии, лежат за городскими стенами; их медленно обливают керосином и сжигают.

У директора на лбу выступила испарина. Вероятно, он стал лихорадочно размышлять, не пора ли все-таки ходатайствовать перед министром о переводе в более цивилизованные края.

– Варварская земля, населенная варварами, – печально произнес он. – Однако заметьте себе, дети, как важно, чтобы власть обеспечивала в стране порядок и умела прибегать к быстрым, решительным мерам.

Класс, обступив директора, с усмешкой слушал его разглагольствования о порядке – истинном, несомненном благе. Лепрозорий с его обитателями ушел в небытие, а наши приемники в следующих классах пусть выдумывают что-нибудь новое.

– А разве вы не знаете, господин директор, что сын Мехмед-Хайдара уже перешел во второй класс нашей гимназии? – с наигранным простодушием спросил я.

– Что-о-о?

У директора глаза полезли на лоб. Мехмед-Хайдар был позором нашей гимназии. В каждом классе он сидел по крайней мере по три года. Шестнадцати лет он уже женился, но по-прежнему продолжал посещать гимназию. Его сыну исполнилось девять, и он поступил в ту же гимназию. Поначалу счастливый отец попытался скрыть этот факт. Но однажды маленький пухленький мальчик на перемене подошел к нему и, глядя на него большими невинными глазами, заявил по-татарски: «Папа, если ты не дашь мне пятак на шоколадку, я скажу маме, что списал работу по математике».

Мехмед-Хайдар ужасно смутился, поколотил дерзкого сорванца и попросил нас при удобном случае сообщить директору о том, что у него есть сын, в как можно более мягких, щадящих выражениях.

– Иными словами, вы утверждаете, что у ученика шестого класса Мехмед-Хайдара есть сын, который уже посещает первый класс? – спросил директор.

– Именно так. Он очень, очень просит прощения. Однако он хочет, чтобы его сын, как и он сам, приобщился к западной учености. Воистину трогательно видеть, как стремление к западным знаниям охватывает все более широкие слои населения.

Директор покраснел. Он мысленно соображал, не нарушает ли то обстоятельство, что отец и сын посещают одну и ту же гимназию, какое-нибудь гимназическое правило. Но решить не мог. И потому папе и сыночку позволили и далее осаждать крепость западной науки.

Тут отворилась незаметная боковая дверь. В сторону отодвинули тяжелый занавес. Мальчик лет десяти за руку ввел в зал четверых темнокожих слепцов, персидских музыкантов. Они уселись на ковер в углу зала и достали странные музыкальные инструменты древней персидской работы. Раздался жалобный звук. Один из музыкантов классическим жестом восточного певца поднес руку к уху.

В зале наступила тишина. И вот другой перс, преисполнившись воодушевления, ударил в бубен. Певец высоким фальцетом затянул песню:

Подобен персидскому клинку стройный стан
твой.
Уста твои подобны сияющему рубину.
Если б я был турецким султаном, взял бы тебя
в жены.
Я бы вплеl жемчуга в твои косы,
Я бы целовал твои ноги.
В золотом кубке я поднес бы тебе
Свое сердце.

Певец умолк. Тут раздался голос его соседа слева. Громко, грубо и злобно он вскричал:

И каждую ночь,
Точно крыса, прокрадываешься ты
Во двор соседа!

Бешено загремел бубен. Зарыдала однострунная скрипка-ребаб. Третий певец воскликнул, гнусаво и страстно:

Он шакал, неверный...
О несчастье! О горе! О позор!

На мгновение воцарилась тишина. Затем, после трех-четырех музыкальных тактов, вступил четвертый певец и затянул тихо, мечтательно, почти нежно:

Три дня буду я точить свой кинжал.
На четвертый я заколю своего соперника.
Я разрежу его тело на мелкие кусочки.
Я переброшу тебя, о возлюбленная, через седло,
Я сокрою лицо свое покрывалом войны
И унесусь с тобой в горы.

Я стоял у одной из парчовых занавесей, украшавших зал, рядом с директором и учителем географии.

– Ужасная музыка, – едва слышно посетовал директор, – точно ночной рев кавказского осла. Интересно, а о чем там речь?

– Верно, бессмыслица какая-нибудь, под стать этой какофонии, – отвечал учитель.

Я хотел на цыпочках незаметно ускользнуть.

Тут я заметил, что тяжелая парча слегка заколыхалась, и осторожно оглянулся. За занавесью стоял старик с белоснежными волосами и странными, очень светлыми глазами, он слушал музыку и плакал: это был господин Зейнал-ага, отец Ильяс-бека. Его руки с набухшими голу-

боватыми жилами дрожали. Этот старик с дрожащими руками, который едва ли умел написать собственное имя, владел состоянием более чем в семьдесят миллионов рублей.

Я отвел глаза. Этот Зейнал-ага был простым крестьянином, но в искусстве певцов понимал больше, чем наши учителя, объявившие, что мы достигли зрелости.

Слепцы допели песню. Теперь музыканты заиграли кавказскую танцевальную мелодию. Я прошелся по залу. Гимназисты стояли, собравшись стайками, и пили вино, в том числе и магометане. Я пить не стал.

По углам болтали друг с дружкой девочки, подружки и сестры наших товарищей. Среди них было много русских, со светлыми косами, с голубыми или серыми глазами и с напудренными сердцами. Они разговаривали только с русскими, в крайнем случае с армянами и грузинами. Если к ним обращался магометанин, они смущенно хихикали, выдавливали из себя несколько слов и отворачивались.

Кто-то открыл крышку рояля. Раздались звуки вальса. Директор закружился в танце с губернаторской дочкой.

Но вот наконец с лестницы донесся голос:

– Добрый вечер, Ильяс-бек. Я немного опоздала, но не по своей вине.

Я бросился на лестничную площадку. Нет, Нино надела не вечернее платье и не парадную форму женской гимназии Святой царицы Тамары. Талия ее, охваченная туго зашнурованным корсетом, была так тонка, что, кажется, я мог бы обнять ее одной ладонью. Стан ее облегал коротенький бархатный кафтан с золотыми пуговицами. Длинная черная юбка, тоже бархатная, ниспадала до самого пола. Из-под нее выглядывали только носки расшитых золотом сафьяновых башмачков. Голову ее покрывала маленькая круглая шапочка, с которой спускались на лоб два ряда тяжелых золотых монет. Старинный праздничный наряд грузинской княжны и лик христианской Мадонны.

Мадонна рассмеялась:

– Не сердись, Али-хан. Чтобы зашнуровать этот наряд, требуется без малого час. Это еще бабушкино наследство. Только ради тебя я и втиснулась.

– Первый танец мой! – воскликнул Ильяс-бек.

Нино вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. Танцевал я неохотно и неуклюже, а Ильяс-беку вполне мог доверить Нино. Ведь он знал, как себя вести.

– «Молитву Шамиля!» – крикнул Ильяс-бек.

Слепые музыканты тотчас же, без перехода, заиграли безудержную, неистовую мелодию...

Ильяс в один прыжок оказался в середине зала и выхватил кинжал. Ноги его замелькали в зажигательном ритме кавказского горского танца. Клинок сверкал у него в руке. Нино, танцуя, приблизилась к нему. Маленькие ножки ее семенили, напоминая чудесные игрушки. Начался танец, подобный таинству, священнодействию. Мы принялись в такт хлопать в ладоши. Нино изображала невесту, которую вот-вот похитит пылкий возлюбленный... Ильяс зажал нож в зубах. Раскинув руки, словно превратившись в горного орла, закружил он вокруг девушки. Нино полетела по залу, непрестанно вертась, точно в водовороте, за ножками ее нельзя было и уследить. Своими гибкими руками передавала она все стадии похищения: страх, отчаяние и покорность. В левой руке она сжимала платок. Она дрожала всем телом. Лишь монеты, украшавшие ее шапочку, лежали не шелохнулись, как полагается, а добиться, чтобы в этой неистовой пляске они оставались неподвижными, было труднее всего. Только грузинке по силам пройти по залу, кружась в бешеном танце, так, чтобы ни одна монета у нее на лбу не звякнула. Ильяс неустанно преследовал ее. По кругу обходил он следом за нею зал, не отставая ни на шаг. Взмахи его рук становились все более повелительными и властными, все нежнее делались жесты Нино, словно защищающейся от притязаний похитителя. Наконец она замерла, точно испуганная, настигнутая охотником лань. Ильяс теперь описывал круги все уже и уже, с каждой

минутой приближаясь к жертве. Все быстрее и быстрее становились его прыжки. Нино глядела на него ласково и смиренно. Руки ее дрожали. В последний раз, словно взыв, застонали персидские музыкальные инструменты, и Нино разжала левую руку. Платок упал на пол. И в то же мгновение кинжал Ильаса низринул на маленький клочок шелка, пригвоздив его к полу.

Так завершился этот танец, символическое изображение страсти...

Кстати, а упоминал ли я, что перед танцем передал Ильяс-беку свой кинжал, а себе взял его оружие? Платок Нино пронзил мой собственный кинжал. На всякий случай я решил перестраховаться, недаром ведь мудрое правило гласит: «Прежде чем доверить верблюда защите Аллаха, покрепче привяжи его к забору».

Глава пятая

– Ступив на эту землю, дабы снискать славу и возбудить в соседях страх и благоговение, наши великие предки, о хан, воскликнули: «Кара бак!» – «Гляди-ка... здесь лежит снег!» А приблизившись к горным склонам и узрев девственный лес, воскликнули: «Карабах!» – «Черный сад!» С тех пор и носит эта земля имя Карабах. А раньше она именовалась Сюник, а еще раньше – Агванк. Ибо ты должен знать, о хан, что земля наша древняя и славная.

Старик Мустафа, мой хозяин, у которого я поселился, приехав в Шушу, с достоинством замолчал, осушил чарку карабахской фруктовой водки, отрезал кусочек странного сыра, свитого из бесчисленных нитей и видом напоминавшего женскую косу, и продолжал болтать:

– В наших горах обитают каранлык – темные духи, они охраняют наши сокровища, это всякому ведомо. А вот в лесах возвышаются священные камни и текут священные ручьи. У нас чего только нет. Пройдись по городу да погляди, работает ли кто, – таких почти и не сыскать. Погляди, грустит ли кто, – таких и вовсе нет. Погляди, есть ли среди нас трезвые, – таких тоже нет! Не удивительно ли это, господин?

Но меня удивляла изысканная, восхитительная лживость этого народа. Ради прославления своей маленькой земли карабахцы готовы выдумать что угодно. Вчера один толстяк-армянин пытался уверить меня, будто христианской церкви Мегрецоц в Шуше пять тысяч лет.

– Ты ври, да не завирайся, – возразил я, – христианству меньше двух тысяч лет. Не могла же христианская церковь быть построена до рождения Иисуса.

Толстяк принял весьма оскорбленный вид и укоризненно произнес:

– Конечно, ты человек образованный. Но послушай старика: может быть, к другим народам христианство и пришло две тысячи лет тому назад, а нас, жителей Карабаха, Спаситель просветил еще на три тысячи лет раньше. Вот как все было.

Спустя пять минут тот же человек как ни в чем не бывало поведал мне, что французский маршал Мюрат по происхождению-де армянин из Шуши. Он, мол, ребенком переселился во Францию, дабы и там прославить карабахскую землю.

Еще по дороге в Шушу кучер, когда мы переезжали по маленькому каменному мостику, сказал:

– Этот мост возвел Александр Великий, отправляясь в Персию, где обессмертил себя подвигами.

На низких перилах красовалась высеченная крупными цифрами дата: 1897. Я показал ее кучеру, но тот только пренебрежительно рукой махнул:

– Ах, господин, это русские добавили задним числом, чтобы умалить нашу славу.

Шуша показалась мне странным городом. Расположенная на высоте пяти тысяч метров над уровнем моря, населенная армянами и магометанами, она много веков играла роль некоего моста между Кавказом, Персией и Турцией. Это красивый город, окруженный горами, лесами и реками. Горы и долины усыпаны маленькими глинобитными хижинами, которые здесь с наивной важностью величают дворцами. Там живут местные аристократы, армянские мелики и нахарары, азербайджанские беки и агалары. Эти люди часами сидели на пороге своих домиков, курили трубки и рассказывали друг другу, как часто Россию и лично царя спасали генералы – уроженцы Карабаха и какая судьба неизбежно постигла бы Российскую империю, если бы Карабаха не было.

Семь часов добирались мы от маленькой железнодорожной станции на конной повозке вверх по крутой, извилистой горной дороге в Шушу: мы – это я и мой кочи. По роду занятий кочи – охранники, а по личной склонности – разбойники. В обязанности кочи входит стеречь дома и оберегать покой их обитателей. Вид у них весьма воинственный, они с головы до ног увешаны оружием и предпочитают хранить мрачное молчание. Быть может, безмолвствуя, они

предаются воспоминаниям о лихих делах прошлого, а быть может, просто так помалкивают, и все. Мой отец послал со мною в дорогу кочи, чтобы тот защищал меня от незнакомцев или незнакомцев от меня. Я так до конца и не понял. Охранник мой был любезен, состоял в отдаленном родстве с семейством Ширваншир и был надежен, как могут быть только родственники на Востоке.

Пять дней просидел я в Шуше в ожидании приезда Нино, с утра до вечера слушал рассказы о том, что все богачи, храбрецы и вообще хоть сколько-нибудь замечательные люди в мире родом отсюда, гулял в городском парке и пересчитывал церковные купола и минареты. Шуша явно была очень богобоязненным городом. Семнадцати церквей и десяти мечетей должно было с избытком хватить шестидесяти тысячам жителей. Кроме того, город мог похвастаться расположенными поблизости многочисленными святынями, прежде всего, конечно, знаменитой усыпальницей, святилищем и двумя деревьями святого Сары-бека, посмотреть которые карабахские хвастуны потащили меня в первый же день.

Усыпальница святого находится в часе езды от Шуши. Каждый год весь город отправляется в паломничество к его гробнице, а потом устраивает пир в священной роще. Люди особенно благочестивые ползут туда на коленях. Это весьма затруднительно, но чрезвычайно повышает репутацию паломника. К деревьям, растущим у гроба святого, ни в коем случае нельзя прикасаться. Всякого, кто дотронется хотя бы до одного древесного листочка, тотчас же разобьет паралич. Вот сколь велика власть святого Сары-бека! Какие чудеса совершил этот святой, мне никто объяснить не смог. Зато описали во всех подробностях, как однажды он, преследуемый врагами, прискакал на коне на вершину той самой горы, где сейчас стоит город Шуша. Преследователи уже настигали его. И тут его конь одним прыжком перелетел через гору, через скалы, через весь город Шушу. На том месте, где копыта его скакуна вновь коснулись земли, богобоязненный человек и по сию пору может узреть следы благородного коня, глубоко отпечатавшиеся в камне. Так уверяли меня жители Карабаха. Когда же я выразил некоторые сомнения в возможности такого прыжка, они негодуя возразили: «Но, господин, это же был карабахский конь!» И тогда они поведали мне легенду о карабахском коне: все-де в их краях прекрасно. Но прекраснее всего – карабахский конь, тот знаменитый конь, в обмен на которого Ага-Мухаммед, шах персидский, предлагал весь свой гарем. (А разве мои друзья не знали, что Ага-Мухаммед был скопец?) Конь этот почитается едва ли не священным. На протяжении столетий мудрецы ломали головы, как бы вывести непревзойденного скакуна, скрещивая разные породы, и вот наконец на свет появилось это чудо, лучший конь в мире, знаменитый золотисто-рыжий конь карабахской породы.

Все эти похвалы возбудили мое любопытство, и я попросил показать мне такого восхитительного коня. Но спутники лишь поглядели с состраданием:

– Легче проникнуть в гарем султана, чем в стойло карабахского коня. Во всем Карабахе не наберется и дюжины чистокровных золотисто-рыжих коней. Кто их увидит, считается конокрадом. Только при объявлении войны владелец седлает своего золотисто-рыжего чудесного скакуна.

Поэтому мне пришлось удовольствоваться одними рассказами о легендарном коне и вернуться в Шушу. И вот я сидел, внимая болтовне старика Мустафы, ждал Нино и чувствовал себя покойно и уютно в этом сказочном краю.

– О Хан, – промолвил Мустафа, – твои предки вели войны, а ты человек ученый и посещал дом знаний. Поэтому ты наверняка слышал об изящных искусствах. Персы гордятся Саади, Гафизом и Фирдоуси, русские – Пушкиным, а далеко на Западе жил поэт, которого звали Гёте и который написал поэму о дьяволе.

– И все эти поэты тоже происходят из Карабаха? – перебил я его.

– Нет, мой благородный гость, но наши поэты лучше, даже если они и отказываются запечатлевать звуки мертвыми буквами. Преисполнившись гордости, они не записывают свои стихи, а лишь произносят наизусть.

– Кого ты имеешь в виду? Ашугов?

– Да, ашугов, – с важностью откликнулся старик. – Они живут в деревнях неподалеку от Шуши, и на завтра у них назначено поэтическое состязание. Хочешь съездить к ним? Послушать да подивиться?

Я не возражал, и на следующий день наша повозка покатила по извилистой горной дороге вниз, в деревню Дашкенд, цитадель кавказского поэтического искусства.

Почти в каждой карабахской деревне найдутся местные певцы, которые всю зиму напролет сочиняют, а весной отправляются бродить по свету, исполнять свои песни во дворцах знати и в хижинах простолюдинов. Однако существуют три деревни, населенные исключительно поэтами и в знак того почета, которым пользуется поэзия на Востоке, освобожденные от любых податей и налогов в пользу местных феодалов. Одна из этих деревень – Дашкенд.

С первого взгляда можно было понять, что жители этой деревни не простые крестьяне. Мужчины расхаживали с длинными волосами, в шелковых кафтанах и недоверчиво косились друг на друга. Женщины держались в тени, вид имели печальный и носили за мужьями музыкальные инструменты. В деревне собралось полным-полно богатых армян и магометан, которые устремились сюда со всей страны, чтобы насладиться искусством ашугов. Маленькую площадь в деревне поэтов заполонила толпа любопытных, жаждущих увидеть необычайное зрелище. Посреди площади замерли двое охваченных воинственным пылом знаменитых поэтов, которым предстояло вступить в ожесточенный поединок. Они насмешливо поглядывали друг на друга. Их длинные кудри развевались на ветру. Один ашуг воскликнул:

– От твоих одежд несет навозом, лицом ты походишь на свинью, таланта у тебя меньше, чем волос на животе девственницы, а за гроши ты готов написать хулительные стихи на себя самого.

Другой отвечал отрывисто, резко и мрачно:

– Ты облачился в одеяния катамита, а голос у тебя, как у евнуха. Ты не в силах продать свой талант, ибо никакого таланта у тебя никогда не было. Ты кормишься жалкими крошками, что падают с того стола, за которым пирует мой бесценный дар.

Так они довольно долго бранили друг друга, страстно и несколько монотонно. Зрители хлопали. Потом появился седовласый старец с лицом апостола и назвал две темы поэтического состязания, одну лирическую, другую эпическую: «Луна над Араксом» и «Смерть Ага-Мухаммед-шаха».

Оба поэта возвели очи горé. Потом они запели. Они затянули песнь о жестоком скопце Ага-Мухаммеде, который отправился в Тифлис, чтобы в тамошних серных ваннах вновь обрести мужскую силу. Когда серные ванны не возымели желаемого действия, скопец разрушил город и приказал предать мучительной смерти всех его жителей, мужчин и женщин. Однако на обратном пути, в Карабахе, его настигло возмездие. Остановившись на ночлег в Шуше, он, спящий, был заколот у себя в шатре. Великий шах нисколько не наслаждался жизнью. Он голодал во время военных походов. Ел черный хлеб и пил кислое молоко. Завоевал множество стран и был беднее последнего нищего, обитателя пустыни. Таков был скопец Ага-Мухаммед.

Свою импровизацию оба певца строили по классическим канонам, причем один весьма детально изобразил муки скопца в стране непревзойденных красавиц, а другой в мельчайших подробностях описал казнь тех же красавиц. Слушатели были довольны. На лбу у поэтов выступила испарина. Потом тот, что держался посмирнее, воскликнул:

– На что походит луна над Араксом?

– На лик твоей возлюбленной, – перебил его мрачный и задиристый.

– Нежно поблескивает золото этой луны, – возгласил смиренный.

– Нет, она подобна щиту великого воина, с честью павшего на поле брани, – возразил задира.

Так они постепенно исчерпали весь арсенал поэтических сравнений. Потом оба пропели по песне о красоте луны, об Араксе, выходящей по равнине, словно девичья коса, и о влюбленных, которые по ночам приходят на берег его и созерцают луну, отражающуюся в речных водах...

Победителем был признан задира. С язвительной улыбкой он принял заслуженный приз – лютню-саз своего соперника. Я подошел к нему. Он с печальным видом взирал в пустоту, пока его латунная чаша наполнялась монетами.

– Ты не рад победе? – спросил я.

Он презрительно сплюнул.

– Разве это победа? Вот раньше были победы! Сто лет тому назад. Тогда победитель мог отрубить голову побежденному. Вот как почитали тогда искусство. А сейчас мы сделали робкими и изнеженными. Никто не готов более проливать кровь за стихи.

– Но теперь ты считаешься лучшим поэтом страны.

– Нет, – ответил он, внезапно еще более погрузнев. – Нет, – повторил он, – я всего-навсего ремесленник. Я не настоящий ашуг.

– А кто же настоящий ашуг?

– На месяц рамазан, – произнес задира, – выпадает таинственная ночь, ночь аль-Кадр. В эту ночь природа на час засыпает. Реки замирают в своем течении, злые духи бросают охранять сокровища. Можно услышать, как растет трава и как переговариваются между собою деревья. Из речных вод поднимаются гурии, а люди, зачатые в эту ночь, становятся мудрецами и поэтами. В ночь аль-Кадр ашуг должен призывать пророка Ильяса, святого покровителя всех поэтов. В должное время пророк является поэту, дает ему отпить из своей чаши и молвит: «Отныне ты настоящий ашуг и узришь все, что ни есть на свете, моими очами». Удостоенному столь несравненного дара теперь покоряются стихии; голосу его повинуются люди и звери, ветра и моря, ведь слово уст его исполнено силы, ниспосланной Всемогущим.

Задира опустился на землю и устроился, опираясь подбородком на ладони. А потом всхлипнул, коротко и злобно.

– Но никто не знает, когда именно бывает ночь аль-Кадр и на какой час этой ночи все засыпает. Поэтому-то и нет на свете настоящих ашугов.

Он встал и ушел – одинокий, мрачный и замкнутый, степной волк в зеленом раю Карабаха.

Глава шестая

Деревья у Пехахпурского источника взирали на небо, словно усталые святые. Вода его журчала, устремляясь по узкому каменистому руслу. Невысокие холмы закрывали вид на Шушу. На востоке карабахские поля постепенно уступали место пыльным азербайджанским степям. Оттуда веяло знойным дыханием великой жаркой пустыни, огнем Заратустры. На юге, подобно пастушеской земле Библии, заманчиво простирались армянские луга. Обступавшая нас роща замерла, ни одно дерево не шелохнулось, словно ее только что покинули последние боги античности. Казалось, это им во славу был разожжен костер, дымившийся сейчас перед нами. Вокруг пламени на разноцветных ярких коврах расположилась компания пирующих грузин и я. У костра громоздились кубки с вином, фрукты, горы овощей и сыра. На мангале, в клубах ароматного дыма, поджаривались на вертеле куски жаркого. Возле источника сидели сазандари, странствующие музыканты. В руках они держали инструменты, сами названия которых звучали как музыка: дойры и чианури, тары и диплипито. Сейчас они как раз пели какой-то баят, любовную песнь в персидском стиле, исполнить которую потребовали городские грузины, чтобы тем острее ощутить прелесть непривычной, сельской и лесной, жизни. Наш учитель латыни назвал бы эту попытку вести себя раскованно и подстраиваться под местные обычаи «дионисийским настроением». А всех этих веселящихся на природе гостей пригласило на ночной праздник только что прибывшее семейство Кипиани.

Передо мной сидел тамада, руководивший пиром по строгим правилам местного праздничного церемониала. У него были блестящие глаза, густые черные усы и покрасневшее лицо. Держа в руке кубок, он выпил за мое здоровье. Я сделал маленький глоток из своего бокала, хотя обычно не пью. Но в роли тамады выступал отец Нино, и к тому же считается невежливым не пить, когда требует распорядитель пира.

Слуги принесли воды из источника. Кто испил этой воды, мог вкушать яств, сколько пожелает, не пресыщаясь, ведь одним из бесчисленных чудес Карабаха были и волшебные свойства воды, что текла в Пехахпурском источнике.

Мы пили эту воду, и горы яств постепенно уменьшались. Я смотрел на строгий, освещенный мерцающим огнем профиль матери Нино. Она сидела рядом с мужем, и глаза ее смеялись. Эти глаза впервые увидели свет в Мингрелии, на равнине Риони, там, где волшебница Медея повстречала аргонавта Ясона.

Тамада поднял бокал:

– Выпьем за здоровье светлейшего князя Дадияни!

Старец с детскими глазами поблагодарил за оказанную честь. Вот уже в третий раз пирующие наполняли вином и осушали бокалы и кубки. Легендарная вода Пехахпура среди прочего помогала избежать опьянения. Никто из гостей не пьянел, ибо во время праздничного застолья грузин испытывает не грубое оупение всех чувств, а сердечный восторг и возвышенную веселость. Голова его остается столь же ясной, сколь и вода Пехахпурского источника.

Рощу озарял свет многочисленных костров.

Мы были не единственными пирующими. Вся Шуша каждую неделю отправлялась в паломничество к разным источникам. Пирывы длились до рассвета. Христиане и магометане пировали вместе под сенью языческой священной рощи.

Я посмотрел на Нино, которая сидела рядом со мной. Она же отвернулась и обратилась к седовласому Дадияни. Этого требовали правила хорошего тона. Стариков надлежало уважать, молодых – любить.

– Непременно приезжайте как-нибудь в Зугдиди ко мне во дворец, – произнес старец, – на берегу реки Риони, где некогда рабы Медеи добывали золото, опуская в воду руно. Приезжайте и вы, Али. Увидите тропический девственный лес Мингрелии с его древними деревьями.

- С удовольствием, ваша светлость, но только ради вас, а не ради деревьев.
 - Али-хан боится деревьев, точно дитя – буки, – вставила Нино.
 - Ну не то чтобы как дитя буки, но то, что для вас деревья, для меня – пустыня.
- Дадияни подмигнул, сощутив свои детские глаза.
- Пустыня, – промолвил он, – с чахлым кустарником и раскаленным песком.

– А меня как-то настораживают и смущают деревья, ваша светлость. Слишком уж леса таинственные и загадочные, так и кажется, будто за следующим стволом подстерегает то ли призрак, то ли демон. Лес необозрим. В лесу царит полумрак. Лучи солнца теряются в тени деревьев. В этой полутьме все предстает нереальным. Нет, не люблю я деревья. Лесные тени меня угнетают, а шелест ветвей навевает грусть. Я люблю простые вещи: ветер, песок и камень. Пустыня проста, как удар меча, а лес сложен, как гордиев узел. Мне в лесу делать нечего, я там заблужусь, ваша светлость.

Дадияни задумчиво поглядел на меня.

– У вас душа кочевника пустыни, – проговорил он. – Быть может, правильнее всего было бы разделить людей на два типа: приверженных лесу и приверженных пустыне. Сухое опьянение Востока порождает пустыня, где человека одурманивают жаркий ветер и жаркий песок, где мир предстает простым и незамысловатым. В лесу же все загадочно и запутанно. Одна лишь пустыня ни о чем не спрашивает, ничего не дарует и ничего не обещает. Но пламя души рождается в лесу. А вот человек, приверженный пустыне, – я так и вижу его перед собой – одержим всего одним чувством, ему ведома всего одна истина, владеющая всем его существом. А у «лесного человека» множество личин. Фанатик приходит из пустыни, творец – из леса. В этом-то, наверное, и заключается главное различие между Востоком и Западом.

– Поэтому мы, армяне, и грузины так любим леса, – вмешался в разговор Мелик Нахарарьян, молодой человек из знатнейшей армянской семьи. Это был толстяк с глазами навывкате, с густыми нависшими бровями и склонностью к философствованию и пьянству. Мы с ним вполне ладили. Он выпил за мое здоровье и воскликнул:

– Али-хан! Орлы рождаются в горах, тигры рождаются в джунглях. А что рождается в пустыне?

– Львы и воины, – отвечал я, и Нино довольно захлопала в ладоши.

Подали барашка на вертеле. Снова и снова наполнялись бокалы. Радость жизни, столь свойственная грузинам, охватила лес. Дадияни стал оживленно обсуждать что-то с Нахарарьяном, а Нино лукаво и вопросительно посмотрела на меня.

Я кивнул. Уже стемнело. В свете костра пирующие походили на призраков или на разбойников. Никто не обращал на нас внимания. Я встал и медленно направился к источнику. Склонился над водой и напился из пригоршни, испытывая истинное блаженство. Долго глядел я на отражение звезд в темной поверхности воды. Тут я услышал за спиной шаги. Сухая ветка хрустнула под чьей-то легкой ножкой... Я протянул руку, и Нино взяла ее своей. Мы углубились в лес. Деревья взирали на нас угрожающе и неодобрительно. Пожалуй, не стоило нам уходить от костра, не стоило Нино опускаться на траву на краю маленькой лужайки и тянуть меня за собой. В жизнерадостном Карабахе царили строгие нравы. Старик Мустафа с ужасом поведал мне, что восемнадцать лет тому назад в его краю было совершено прелюбодеяние. С тех пор-де фруктовые деревья так и не плодоносят...

Мы смотрели друг на друга, и лицо Нино, освещенное луной, казалось бледным и загадочным.

– Так ты теперь княжна, – произнес я, и Нино искоса поглядела на меня. Вот уже двадцать четыре часа она была княжной, а ее отцу потребовалось двадцать четыре года, чтобы в Петербурге доказать свое право на княжеский титул. Сегодня утром из Петербурга пришла долгожданная телеграмма. Старик радовался, как ребенок, который обрел утраченную мать, и пригласил всех нас на ночной пир.

– Княжна, – повторил я, взяв ее лицо в ладони.

Она не сопротивлялась. Может быть, она выпила слишком много кахетинского. А может быть, ее одурманивали лес и луна. Я поцеловал ее. Руки у нее были мягкие и теплые. Ее тело медленно уступало моему натиску. Похрустывали сухие древесные ветки. Мы лежали на мягком мху, и Нино глядела мне в лицо. Я прикасался к ее маленьким, упругим, выпуклым губам, вдыхая едва различимый запах и ощущая солоноватый вкус ее кожи.

С Нино происходило что-то странное, и эта непостижимая волна захлестнула и меня. Все ее существо словно свелось к одному-единственному чувственному ощущению, властному и могущественному, вселяемому землей, навеваемому дыханием земли. Ее охватило телесное блаженство. Глаза у нее затуманились. Узкое лицо ее казалось необычайно серьезным. Я растянул на ней платье. Кожа ее в свете луны отливала желтоватым блеском, словно опал. Я слушал стук ее сердца, а она произносила какие-то бессмысленные слова, исполненные нежности и блаженства. Я прижался лицом к ее груди. Колени ее дрожали. По лицу ее побежали слезы, и я стал целовать их, отирая ее влажные щеки. Она встала и замолчала, вся в плену таинственных, загадочных чувств. Ей, моей Нино, было всего семнадцать, и она посещала гимназию Святой царицы Тамары. Потом она произнесла:

– Мне кажется, я люблю тебя, Али-хан, пускай даже я теперь и княжна.

– Может быть, титул тебе носить осталось недолго, – сказал я, и на лице Нино отразилось недоумение.

– Что ты хочешь этим сказать? По-твоему, царь снова может отобрать его у нас?

– Ты утратишь его, когда выйдешь замуж. С другой стороны, титул «хан» тоже неплох.

Нино сложила руки на затылке, откинула голову и рассмеялась:

– «Хан», может быть, звучит и недурно, но «ханша» – ужасно! Да и титула такого нет. И вообще, мне кажется, ты мне делаешь предложение как-то странно, если это, конечно, предложение.

– Именно так.

Пальцы Нино скользнули по моему лицу и зарылись мне в волосы.

– А если я соглашусь, тогда ты сохранишь об этом лесе добрую память и не будешь больше бранить деревья?

– Думаю, да.

– Но в свадебное путешествие ты повезешь меня к дяде, в Тегеран, и я по особой протекции смогу посетить шахский гарем и там удостоюсь чести попить чаю и побеседовать с многочисленными толстушками.

– Да, и что?

– А потом мне будет позволено посмотреть на пустыню, потому что там нет никого, кто мог бы посмотреть на меня.

– Нет, Нино, зачем тебе смотреть на пустыню, тебе там не понравится.

Нино обняла меня за шею и прижалась носом к моему лбу.

– Может быть, я и вправду за тебя выйду, Али-хан. Но ты уже подумал, какие препятствия нам придется преодолеть, кроме лесов и пустынь?

– А какие?

– Сначала мои родители умрут от горя, узнав, что я выхожу за магометанина. Потом твой отец проклянет тебя и станет требовать, чтобы я перешла в ислам. А когда я это сделаю, царь-батюшка сошлет меня в Сибирь за отпадение от православной веры. И тебя как совратителя за мною следом.

– А потом мы усядемся на льдину посреди Северного Ледовитого океана, и нас съедят белые медведи, – засмеялся я. – Нет, Нино, до этого не дойдет. Тебе не придется переходить в ислам, твои родители не умрут от горя, а в свадебное путешествие мы поедем в Париж и в Берлин, чтобы ты посмотрела на деревья в Булонском лесу и в Тиргартене. Ну, что скажешь?

– Ты так добр ко мне, – удивленно сказала она, – и я не скажу «нет», но и согласия пока дать не могу. Но я же от тебя не убегу. Когда я окончу гимназию, мы поговорим с родителями. Вот только похищать меня ты не должен. Только не это. Я знаю, как это у вас заведено: перебросите через седло, увезете в горы и так положите начало жестокой кровной вражде с семейством Кипиани.

Внезапно ее охватил приступ неудержимой веселости. Казалось, все в ней смеется: лицо, руки, ноги, даже кожа. Она прислонилась к древесному стволу, опустила голову и снизу вверх поглядела на меня. Я стоял перед ней. В тени дерева она походила на экзотического зверька, который таится в лесу, опасаясь охотника.

– Идем, – произнесла Нино, и мы направились по лесу к большому костру.

По дороге ей пришло в голову еще кое-что. Она остановилась и прищурилась, глядя на луну.

– А наши дети, какую веру будут исповедовать они? – озабоченно спросила она.

– Разумеется, достойную, – отвечал я уклончиво.

Она недоверчиво посмотрела на меня и на какое-то время замолчала. А потом грустно добавила:

– А не слишком ли я стара для тебя? Мне ведь скоро семнадцать. Твоей будущей жене сейчас должно бы быть лет двенадцать.

Я успокоил ее. Нет, она явно не слишком стара. В крайнем случае слишком умна, ведь неизвестно, всегда ли ум такое уж преимущество. Может быть, все мы на Востоке слишком рано взрослеем, стареем и умнеем. Может быть, мы все без исключения глупые и наивные. Я и сам не знал. Меня сбивали с толку и смущали деревья, смущала Нино, смущал далекий отсвет пиршественного костра, а больше всего смущал себя я сам, ведь я, наверное, тоже слишком много пригубил кахетинского и, словно разбойник, вторгшийся из пустыни, бесчинствовал в очарованном саду любви.

Впрочем, Нино совершенно не походила на жертву разбойника, прискакавшего из пустыни. Она шла к костру спокойно и уверенно, нисколько не таясь. Когда мы дошли до Пехахпурского источника, никто не мог бы сказать, что она только что плакала, безудержно смеялась или испытывала нежное томление. Никто ни в чем не заподозрил нас, на некоторое время исчезнувших в лесу. Я сел к костру и вдруг почувствовал, как у меня горят губы. Я наполнил свой бокал водой из источника и поспешно его осушил. Отставляя бокал в сторону, я встретился взглядом с Меликом Нахарарьяном, который смотрел на меня дружелюбно, внимательно и несколько снисходительно.

Глава седьмая

Я лежал на диване на террасе маленького домика и мечтал о любви. Она оказалась совсем не такой, как следовало бы. С самого начала совсем не такой. Я встретил Нино не у колодца, куда она пришла за водой, а на Николаевской улице, по дороге в гимназию. Поэтому эта любовь и будет совсем не такой, как у моего отца, деда или дяди. Любовь для жителя Востока начинается у колодца, у маленького, неторопливо плещущего деревенского источника, или у большого поющего фонтана в городе, где нет недостатка в воде. Каждый вечер девушки, неся на плече высокие глиняные кувшины, идут к колодцу, неподалеку от которого, собравшись кружком, сидят молодые мужчины, не обращая внимания на проходящих мимо девиц. Они болтают о войне и о добыче. Медленно наполняют девушки свои кувшины, медленно идут они назад. Кувшин тяжел. Он до краев наполнен водой. Чтобы не оступиться, девушки откидывают покрывало, скромно опуская очи dolu.

Каждый вечер ходят девицы к колодцу. Каждый вечер молодые люди сидят в дальнем конце площади. Так начинается любовь на Востоке.

Совершенно случайно девушка поднимает глаза и бросает взгляд на мужчин. Мужчины этого не замечают. Только когда эта девица возвращается, один из них оборачивается и смотрит в небо. Иногда при этом он встречается взглядом с девушкой. А иногда и не встречается – в таком случае завтра его место занимает другой. Когда двое у колодца несколько раз встретились взглядом, все понимают, что это начало любви.

Все остальное прикладывается само собою. Влюбленный бродит в окрестностях города, распевая баллады, его родственники ведут переговоры о размерах выкупа за невесту, а мудрецы гадают, сколько новых воинов впоследствии произведет на свет эта пара. Все просто, любое желание осуществляется по заранее установленным правилам.

А как же я? Где мой колодец? Где покрывало, окутывающее лицо Нино? Странно. Женщину под покрывалом не рассмотреть. Однако влюбленный все о ней знает: ее привычки, ее мысли, ее чаяния. Покрывало прячет глаза, нос, рот. Но не душу. В душе восточной женщины нет никаких тайн и загадок. Совсем не то женщины, не носящие покрывала. Можно увидеть их глаза, нос, рот, иногда даже много больше. Но никогда нельзя узнать, что таится в глубине этих глаз, даже если убежден, что знаешь это наверняка.

Я люблю Нино, и все же она тревожит меня и смущает. Она радуется, когда другие мужчины на улице оглядываются ей вслед. Добрая жительница Востока в таком случае возмущалась бы. Она целует меня. Мне позволено прикасаться к ее груди и гладить ее бедра. А ведь мы еще даже не помолвлены. Она читает книги, в которых подробно говорится о любви, и потом у нее бывает мечтательный, исполненный томления взгляд. Когда я спрашиваю ее, о чем она тоскует, она удивленно качает головой, ведь она явно и сама не знает, о чем именно. Я никогда ни о чем и ни о ком не томлюсь и не тоскую, кроме нее. Когда Нино рядом, я вообще ни о чем больше не думаю. Мне кажется, Нино такая тоска овладевает потому, что она слишком часто бывала в России. Отец брал ее с собой в Петербург, а русские женщины, как известно, сплошь сумасшедшие. У них слишком соблазнительные глаза, они часто изменяют своим мужьям и все-таки редко рожают больше двоих детей. Так наказывает их Бог! И несмотря на это, я люблю Нино. Люблю ее глаза, ее голос, ее смех, то, как она говорит и как думает. Я женюсь на ней, и она станет мне доброй женой, как все грузинки, сколь бы веселы, раскованны или мечтательны они ни были. Иншалла.

Я повернулся на другой бок. Размышления меня утомили. Насколько приятнее было закрыть глаза и мечтать о будущем, то есть о Нино, ведь будущее начнется для нас со свадьбы, с того самого дня, когда Нино станет моей женой.

Это будет волнующий день. Мне нельзя будет увидеть Нино в этот день. Нет ничего опаснее для первой брачной ночи, чем если жених и невеста посмотрят друг другу в глаза. За Нино придут мои друзья, на конях, с оружием. Она явится в непроницаемом для взоров покрывале. Только в этот, один-единственный, день придется ей облачиться в одеяние восточной женщины. Мулла будет задавать нам вопросы, а мои друзья, стоя по четырем углам зала, станут шептать заклинания от мужского бессилия. Этого требует обычай, ведь у всякого найдутся враги, которые в день свадьбы, до половины вытащив кинжал из ножен и обратив лицо к западу, прошепчут: «Анисани, банисани, мамаверли, каниани, он не может, не может, не может».

Но к счастью, у меня есть верные друзья, а Ильяс-бек знает все спасительные заклинания наизусть.

Тотчас же после свадьбы мы расстанемся. Нино отправится к своим подругам, а я – к своим друзьям. Торжественно провожать юность мы будем порознь.

А потом? Да, что же потом?

На миг я открываю глаза, вижу деревянную лестницу, деревья в саду и снова закрываю, чтобы лучше различить, что будет потом. День свадьбы – самый важный, более того, единственно важный день в жизни, да к тому же еще такой тяжелый.

В эту первую ночь трудно попасть в брачный покой. У каждой двери в длинном коридоре вырастают, точно из-под земли, ряженные и пропускают жениха, только получив от него монету. В брачном покое доброжелатели к этому времени успевают спрятать петуха, кошку или еще какую-нибудь тварь. Мне придется хорошенько осмотреться. Ведь иногда в постели хихикает какая-нибудь старуха и соглашается освободить брачное ложе не раньше, чем тоже разживется мздой.

Наконец я остаюсь в одиночестве. Открывается дверь, и в опочивальню входит Нино. Теперь настает черед самому трудному. Нино улыбается и выжидательно смотрит на меня. На ней тесный-претесный сафьяновый корсет. Он стянут шнурами, спереди завязанными сложными-пресложными узлами. Распутать их невероятно трудно, и в этом их единственное назначение. Развязывать их мне придется самому. Нино не должна мне помогать. Или она все-таки не бросит меня в беде? Ведь узлы затянуты дьявольски изощренно, а просто разрезать их ножом считается несмываемым позором. Жених должен сохранять самообладание, ибо на следующее утро друзья явятся проверить, развязаны ли узлы. Горе несчастному, который не сумеет их предьявить. Он сделается посмешищем для всего города.

В первую брачную ночь дом превращается в настоящий муравейник. Друзья, родные друзей и друзья родных друзей заполняют коридоры, крышу и даже улицу перед домом. Они ждут не дождутся решающего знака и теряют терпение, когда ждать становится невозможным. Тогда они стучат в дверь, мяукают и лают, пока не раздастся долгожданный револьверный выстрел. Тотчас же друзья с восторгом принимают палить в воздух, выбегают из дома и выстраиваются в некое подобие почетного караула, который не пустит нас с Нино на улицу, пока эта игра ему не надоест.

Да, хорошенькая выдастся первая брачная ночь, согласно старинным обычаям, как учат нас отцы.

Должно быть, я заснул, лежа на диване, ведь когда я снова открыл глаза, на полу рядом со мной сидел на корточках мой кочи и чистил ногти лезвием кинжала. Я и не слышал, как он пришел.

– Что нового, братик? – лениво позевывая, спросил я.

– Да ничего особенного, барчук, – отвечал тот скучающим тоном. – У соседа поссорились женщины, а еще осел испугался, забежал в ручей и до сих пор там стоит.

Кочи помолчал, вложил кинжал в ножны и довольно равнодушно продолжал:

– Царь повелел объявить войну нескольким европейским монархам.

– Что-о-о? Какую еще войну?

Я вскочил на ноги и в замешательстве уставился на него.

– Самую обычную.

– Не может быть! Да кому объявил?

– Нескольким европейским монархам. Имен я не запомнил, слишком уж их много было.

Но Мустафа их все записал.

– А ну сей же час его позови!

Кочи покачал головой, явно осуждая столь недостойное любопытство, исчез за дверью и вскоре вернулся в сопровождении домохозяина.

Мустафа усмехался, наслаждаясь собственным превосходством, и так и сиял, упиваясь всезнанием. Да, разумеется, царь объявил войну. Весь город уже знает. Один я, мол, сплю на балконе. Впрочем, по какой именно причине царь объявил войну, точно неизвестно. Так уж он решил в неизреченной мудрости своей.

– Да кому, в конце-то концов, объявил войну царь? – раздраженно воскликнул я.

Мустафа сунул руку в карман и извлек покрытый каракулями листочек бумаги. Откашлялся и принялся читать с достоинством, но то и дело запинаясь:

– Германскому кайзеру и императору австрийскому, королю баварскому, королю прусскому, королю саксонскому, королю вюртембергскому, королю венгерскому и многочисленным иным правителям.

– Я же тебе говорил, барчук, вон их сколько, всех и не упомнишь, – скромно заметил кочи.

Мустафа тем временем сложил свой листок и добавил:

– Напротив, его величество халиф и султан Османской империи Мехмед Решад, а также его величество шахиншах иранский султан Ахмед-шах заявили, что пока не примут участия в этой войне. Ведь это война неверных друг с другом, а значит, нас она не очень-то и касается. Мулла из мечети Мехмеда Али полагает, что победят немцы...

Мустафа не успел договорить. Из города, заглушая все, внезапно донесся звон семнадцати церковных колоколов. Я выбежал на улицу. Купол раскаленного августовского неба застыл над городом, неподвижный и угрожающий. Синие горы вдалеке замерли безучастными свидетелями. Колокольный звон словно раскалывался о серые утесы. Улицы заполнили люди. Вздошные и разгоряченные, они с тревогой скидывали головы, глядя на купола храмов Божьих. В воздухе кружилась пыль. Все говорили охрипшими голосами. Церкви со своими ветхими стенами, казалось, безмолвно устремили взор в вечность. Их колокольни вздымались над нами, словно тая в себе невысказанную угрозу. Колокольный звон затих. На минарет расположенной по соседству мечети вошел толстый мулла в ярком ниспадающем одеянии. Он поднес ладони растробом ко рту и призвал горделиво и печально:

– Спешите на молитву, спешите на молитву, молитва лучше сна!

Я кинулся в конюшню. Кочи оседлал мне коня. Я вскочил в седло и понесся по улицам, не обращая внимания на прохожих, провожающих меня испуганным взглядом. Конь наострил уши в радостном возбуждении. Я выехал из города. Передо мной протянулась уходящая вниз широкая лента горной дороги. Я поскакал галопом мимо домов карабахской знати, и простоватые, крестьянского вида аристократы кричали мне вслед:

– Уже на битву торопишься, Али-хан?

Я бросил взгляд вниз, в долину. Маленький домик с плоской крышей окружал сад. Едва завидев его, я позабыл все правила верховой езды. С крутых холмов я и дальше скакал бешеным галопом. Дом все приближался, а за ним исчезали горы, небо, город, царь и весь мир. Я свернул в сад. Из дома вышел слуга с неподвижным лицом. Он поглядел на меня глазами мертвеца.

– Княжеское семейство уехало три часа тому назад.

Я машинально сжал рукоять кинжала.

Слуга сделал шаг в сторону.

– Княжна Нино оставила вашей светлости Али-хану Ширванширу письмо. – Он сунул руку в нагрудный карман.

Я соскочил с коня и опустился на ступени террасы. Конверт был мягкий, белоснежный и благоухающий. Я нетерпеливо вскрыл его. Крупным детским почерком на листе было написано: «Дражайший Али-хан! Внезапно началась война, и нам приходится вернуться в Баку. Я не успела тебя предупредить. Не сердись. Плачу, люблю тебя. Лето скоро кончится. Приезжай скорей за мной следом. Жду тебя, тоскую. В дороге буду думать о тебе. Отец полагает, что мы победим и война быстро завершится. У меня от всей этой неразберихи голова идет кругом. Сходи, пожалуйста, на базар в Шуше и купи мне ковер, а то я так и не собралась. Мне нужен с узором из разноцветных конских голов. Целую тебя. В Баку наверняка будет ужасно жарко. Твоя Нино».

Я сложил письмо. Собственно, все было в порядке. Вот только я, Али-хан Ширваншир, как глупый мальчишка, очертя голову вскочил в седло и поскакал в долину, вместо того чтобы, как полагается, пойти к городскому голове и поздравить его с началом войны или, по крайней мере, в какой-нибудь мечети Шуши вознести молитвы о даровании победы царской армии. Я сидел на ступенях террасы, уставившись в пустоту. Какой же я дурак. Что же оставалось делать Нино, как не послушно уехать вместе с родителями домой и просить меня как можно быстрее вернуться следом за ней? Разумеется, когда в стране начинается война, девушка должна сначала встретиться со своим возлюбленным, а не писать ему благоуханные письма. Но в нашей стране не было войны, война шла в России, а это мало касалось нас с Нино. И все же я злился: на старика Кипиани, который так спешил попасть домой, на войну, на гимназию Святой царицы Тамары, где девушек не учат вести себя надлежащим образом, и прежде всего на Нино, ведь она просто взяла и уехала, в то время как я, забыв о долге и достоинстве, кинулся к ней. Я перечитывал и перечитывал ее письмо. Внезапно я выхватил кинжал, взмахнул рукой, клинок блеснул на солнце и вонзился в ствол соседнего дерева, издав звон, напоминающий рыдание.

Подошел слуга, вытащил кинжал, оглядел его с видом знатока и вернул мне.

– Настоящая кубачинская сталь, а рука у вас сильная, – не без робости произнес он.

Я сел на коня и медленно поехал назад. Вся ярость моя куда-то улетучилась. Вернее, она осталась в древесном стволе. Нино поступила совершенно правильно. Она хорошая дочь и будет мне хорошей женой. От стыда я ехал, не поднимая головы. На дороге клубилась пыль. Солнце окрасилось алым и уже садилось на западе.

Тут я очнулся, услышав лошадиное ржание, поднял голову и замер. На миг я забыл Нино и весь мир. Передо мной вырос конь с маленькой, узенькой головкой, надменными очами, стройным телом и ногами балерины. Золотисто-рыжий, он словно поблескивал в косых лучах солнца. В седле сидел старик с висячими усами и кривым носом: князь Меликов, сосед-помещик. Я натянул удила и, не веря глазам своим, восхищенно воззрился на скакуна. Что там рассказывали мне жители Шуши о знаменитой породе лошадей святого Сары-бека? «Они золотисто-рыжей масти, и на весь Карабах их и всего-то сыщется дюжина. Их берегут, словно насельниц султанского гарема». И вот такое золотисто-рыжее чудо предстало теперь передо мной.

– Куда путь держите, князь?

– На войну, сын мой.

– Какой конь, князь!

– Да, диво дивное, ничего не скажешь! Мало найдется тех, кто владеет настоящими золотисто-рыжими...

Тут взор князя смягчился.

– Сердце его весит ровно шесть фунтов. Когда такого коня обливают водой, тело его блестит, подобно золотому кольцу. Он еще ни разу не видел солнечного света. Сегодня, когда я

вывел его из конюшни и солнечные лучи озарили его глаза, они засверкали, точно бьющий из-под земли ключ. Наверняка так сияли глаза того, кто открыл человечеству огонь. Мой скакун происходит от коня Сары-бека. Я еще никому его не показывал. Только когда царь призывает на войну, седлает князь Меликов чудесного золотисто-рыжего жеребца.

Он с достоинством попрощался со мной и поскакал дальше, тихонько позвякивая саблей. На нашу землю действительно пришла война.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.